РОМАН ГАЗЕТА

№20(834) · 1977

ЕВГЕНИЙ НОСОВ

УСВЯТСКИЕ ШЛЕМОНОСЦЫ

«СЕЯТЕЛЬ ТВОЙ И ХРАНИТЕЛЬ...»

Написанные почти сто двадцать лет тому назад эти некрасовские строки о русском крестьянине — кормильце и защитнике родной земли — емко обозначили обе исторические обязанности гражданина нашего Отечества: созидать и оборонять. И не однажды отзывались они в истории и памяти народной за прошедшее столетие.

Уже в заголовке повести Евгения Носова «Усвятские шлемоносцы» эта мысль звучит, сочетая, казалось бы, несочетаемое: извечно мирные пахари и сеятели одевают шлемы — значит, вновь в минуту смертельной опасности взывает к ним Родина.

Шлемоносцы... Строфой из «Слова о полку Игореве» так естественно, оправданно предваряет писатель свою повесть, и мы вспоминаем восклицание певца: «О Русская земля! уже за шеломянемъ еси! (О Русская земля! уже ты за холмом!)» — и в который раз поражаемся образности языка предков своих, обнаружив совпадение слова «шелом» (холм) с названием боевого головного убора, очертаниями, формой напоминавшего сеятелю и хранителю родные холмы, облик защищаемой им земли...

Праздничной картиной июньского сенокосного утра открывается повесть — писатель властною силою художественного слова приобщает нас к ощущению приволья, радости бытия, к острому чувству артельной работы, погружает в звонкую («маревную») тишину цветущих зрелых лугов — «экие нынче непроворотные травы!». Натаха, жена главного героя повести, Касьяна, чинно кланяется косцам: «Мир вам, люди добрые!» А в это время по родной земле уже семь часов идет война...

Героев советской литературы о минувшей войне мы встречаем в окопах, в танковых атаках, в дерзких вылазках разведки, в партизанских отрядах. Повесть Е. Носова обращена к предыстории их военной жизни, к той самой точке отсчета, откуда начинались тысяча четыреста восемнадцать дней героического и трагического летосчисления Великой Отечественной войны. Это новый аспект темы войны в литературе, дающий ей ретроспективу и художнически тонко исследующий родословную советского героизма, его «корневую систему».

Читатель прозы Евгения Носова — этого глубоко национального русского художника — в каждой его прежней вещи непременно встретит и философски осмысленные, живописные пейзажи Родины, и своеобычные характеры, человека-судьбу, через которого писатель показывает движение времени и смысл его перемен, в освещенных поэтическим светом произведениях обязательно при этом бьется остросоциальная мысль. Эти достоинства писательского взгляда и манеры сохраняются и в повести «Усвятские шлемоносцы», но она обогащена и новым для Е. Носова свойством. Писателю удалось здесь сопрячь времена и побудить героя осознать себя звеном в цепи отечественной истории, свою судьбу — частью народной судьбы.

Со школьных лет, когда мы еще неосмысленно и наспех заучивали не совсем понятное, но такое тревожаще родное: «Не лепо ли ны бяшеть, братие, начяти старыми словесы...», с тех лет запомнилось, что дружинники князя Буй-Тур Всеволода — «...куряне — опытные воины: под трубами повиты, под шеломами взлелеяны, с конца копья вскормлены...». Из деревни Усвяты, где живут герои Е. Носова, воочию видны если не река Каяла, не Дон Великий, то край поля Куликова, заповедная степь, откуда на эту землю не раз приходили «поганые» и откуда они не раз бежали под натиском русских шлемоносцев былых времен...

Медленно, очень медленно движется действие в повести. Может быть, иной торопливый равнодушный взгляд в поисках острого поворота сюжета побежит дальше и дальше по страницам... Да не там и не то ищет: художник дает возможность читателю пристально всмотреться вместе с Касьяном в оставляемое им здесь, в мирной жизни, чтобы перед уходом на войну впитать в себя, запомнить, унести с собой всю эту естественную, привычную картину бытия, не замечаемую прежде ее неповторимость. Ритм повествования выбран писателем очень точно: не вдруг готов мирный человек сменить косу на винтовку, исподволь вызревает в нем святое чувство гнева к захватчикам, постепенно бывшие односельчане начинают осознавать себя бойцами, частицей «главной армии»...

Эта замедленность действия оправданна, необходима и потому, что состояние героев повести — медленное *прощание*, для многих из усвятцев — *навсегда*. Не случайно спотыкаемся мы вместе с Касьяном о комья земли перед каждой усвятской избой: тягостное предчувствие. Хотя ямы-то заготовлены для столбов проводить радио. И все-таки они — перед каждой избой...

(Окончание на 3-й полосе обложки)

ОСНОВАНА В 1927 г.

№20(834)
1977

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА

ЕВГЕНИЙ НОСОВ

УСВЯТСКИЕ ШЛЕМОНОСЦЫ

ПОВЕСТЬ

> И по Русской земле тогда
> Редко пахари перекликалися,
> Но часто граяли враны.
>
> *«Слово о полку Игореве»*

1

В лето, как быть тому, Касьян косил с усвятскими мужиками сено. Солнце едва только выстоялось по-над лесом, а Касьян уже успел навихлять плечо щедрой тяжестью. Под переменными дождями в тот год вымахали луга по самую опояску, рад бы поспешить, да коса не давала шагнуть, захлебывалась травой. В тридцать шесть годов от роду силенок не занимать, самое спелое, золотое мужицкое времечко, а вот поди ж ты: как ни тужься, а без остановки, без роздыху и одну прокошину нынче Касьяну одолеть никак не удавалось — стена, а не трава! Уже в который раз принимался он монтачить, вострить жало обливным камушком на деревянной рукоятке. По утренней росе с парным сонным туманцем ловкая обношенная коса не дюже-то и тупилась, но при народе не было другого повода перемочь разведенное плечо, кроме как позвякать оселком, туда-сюда пройтись по звонкому полотну. А заодно оглянуться на чистую свою работу и еще раз подивляться: экие нынче непроворотные травы! И колхоз, и мужики с кормами будут аж по самую новину, а то и на другой год перейдет запасец.

Вышли хотя и всей бригадой, но кусты и облесья не позволяли встать всем в один ряд, и порешили косить каждый сам по себе, кто сколько наваляет, а потом уж обмерить в копнах и определить сдельщину. Посчитали, что так даже спорее и выгоднее.

Радуясь погожему утру, выпавшей удаче и самой косьбе, Касьян в эти минутные остановки со счастливым прищуром озирал и остальной белый свет: сызмальства утешную речку Остомлю, помеченную на всем своем несмелом, увертливом бегу прибрежными лозняками, столешную гладь лугов на той стороне, свою деревеньку Усвяты на дальнем взгорье, уже затеплившуюся избами под ранним червонным

солнцем, и тоненькую свечечку колокольни, розово и невесомо сиявшую в стороне над хлебами, в соседнем селе, отсюда не видном — в Верхних Ставцах.

Это глядеть о правую руку. А ежели об левую, то виделась сторона необжитая, не во всяк день хоженая — заливное буйное займище, непролазная повительная чащоба в сладком дурмане калины, в неуемном птичьем посвисте и пощелке. Укромные тропы и лазы, обходя затравенелые, кочкарные топи, выводили к потаенным старицам, никому во всем людском мире не известным, кроме одних только усвятцев, где и сами, чего-то боясь, опасливо озираясь на вековые дуплистые ветлы в космах сухой куги, с вороватой поспешностью ставили плетеные кубари на отливавшую бронзой озерную рыбу, промышляли колодным медом, дикой смородиной и всяким снадобным зельем.

Еще с самой зыбки каждого усвятца стращают уремой, нечистой обителью, а Касьян и до сих пор помнит обрывки бабкиной присказки:

Как у сгинь-болота жили три змеи:
Как одна змея закликуха,
Как вторая змея заползуха,
Как третья змея веретенка...

Но выбирались пацаны из зыбок, и, вопреки всяким присказкам, никуда не тянуло их так неудержимо, как в страховитую урему, что делалась для них неким чистилищем, испытанием крепости духа. А став на ноги, на всю жизнь сохраняли в себе уважение к дикому чернолесью. И кажется, лиши усвятцев этого никчемного, бросового закоулка их земли, и многое отпало бы от их жизни, многое потерялось бы безвозвратно и невосполнимо. Что ни говори, а даже и теперь, при тракторах и самолетах, любит русский человек, чтобы поблизости от его жилья непременно было вот такое заиятное место, окутанное побасками, о котором хочется говорить шепотком...

Займище окаймлял по суходолу, по материковому краю сивый от тумана лес, невесть где кончавшийся, за которым, признаться, Касьян ни разу не был: значилась там другая земля, иная округа со своими жителями и со своим начальством, ездить туда было не принято, незачем, да и не с руки. Так что весь мир, вся Касьянова вселенная, где он обитал и никогда не испытывал тесноты и скуки, почитай, описывалась горизонтом с полдюжиной деревень в этом круге. Лишь изредка, в межсезонье, выбирался он за привычную черту, наведывался в районный городок приглядеть то ли новую косу, то ли бутылку дегтя на сапоги, лампового стекла или сменить поизносившийся картуз.

Куда текла-бежала Остомля-река, далеко ли от края России стояли его Усвяты и досягаем ли вообще предел русской земли, толком он не знал, да, поди, и сам Прошка-председатель тоже того не ведал. Усвятский колхоз по теперешним отмерам невелик был, кроме плугов да телег, никакой прочей техники не имел, так что Прошка-председатель, сам местный мужик, не ахти какой прыщ, чтобы все знать.

Правда, знал Касьян, что ежели поехать лесом и миновать его, то сперва будут Ливны, а за Ливнами через столько-то дён объявится и сама Москва. А по тому вон полевому шляху должен стоять Козлов-город, по-за которым невесть что еще. А ежели поехать мимо церкви да потом прямки, прямки, никуда не сворачивая, то на третьем или четвертом дне покажется Воронеж, а уж за ним, сказывали, начинаются хохлы...

Была, однако, у Касьяна в году одна тысяча девятьсот двадцать седьмом большая отлучка из дому: призывался он на действительную службу. Трое суток волокся состав, и все по неоглядной желтеющей поздним жнивьем земле, пока не привезли его к месту назначения. Попал он в кавалерийскую часть, выдали шашку с винтовкой, но за все время службы ему не часто доводилось палить из нее и махать шашкой, поскольку определили его в полковые фуражиры, где ничего этого не требовалось. А было его обязанностью раздавать поэскадронно прессованные тюки, мерять ведрами пыльный овес, а в летнее время вместе с выделенными нарядами косить и скирдовать военхозовское сено. За тем делом и прошла вся его служба, ничего такого особенного не успел повидать, даже самого Мурома, через который и туда, и обратно проехали ночью. И хотя в Муроме и останавливались оба раза, но эшелон был затиснут между другими составами, так что когда Касьян высунулся было из узкого теплушечного оконца, то ничего не увидел, кроме вагонов и станционных фонарей, застивших собой все остальное.

Больше всего запомнилась ему дорога, особенно обратная, когда не терпелось поскорее попасть домой, а поезд все не спешил, подолгу стоял на каких-то полустанках, потом опять принимался постукивать колесами, и окрест, в обе стороны от полотна, простирались пашни и деревеньки, бродил по лугам скот, ехали куда-то мужики на подводах, кричали и махали поезду такие же, как и везде, босые, в неладной обношенной одежде белоголовые ребятишки... Тогда-то и запало Касьяну, что нет ей конца и краю, русской земле.

Случалось, на старых бревнах говаривали бывалые старики про разные земли, кому где довелось побывать или про то слышать, и вот в такие вечера Касьян, отрешаясь от своих дел и забот, вспоминал, что, кроме русской земли, есть еще где-то и иные народы, о которых на другой день при солнечном свете сразу же и забывалось и больше не помнилось. И если бы

теперь оторвать Касьяна от косьбы н спроснть, в какой стороне должны быть, к прнмеру, кнтайцы и в какой туркн — Касьяи досадлнво б отмахнулся: «Делать, что лн, окромя нечего, как думать про это». И опять с размашнстой звенью принялся бы ходнть косой.

За трн года солдатчнны Касьян попрнвык к сапогам и, вернувшись, больше ие носнл лаптей, но всегда плел свежую пару к Петрову дню, к покосам. И теперь, обутый в новые невесомые лапоткн, обшорканные о травяную стерню до восковой желтизны н глянцевнтостн, с легкой радостью в ногах прнтопывал за косой, выпростав из штанов свежую выстнранную косоворотку. Да и все его крепкое н ладное тело, взбодренное утренней колкой свежестью, ощущением воли, лугового простора, неспешным возгораннем долгого погожего дня, азартно возбужденного праздннчной работой, коей всегда счнталась исконно желанная сенокосная пора, ожндаемая пуще самнх хлебных зажннков, — каждый мускул, каждая жилка, даже подныващее натруженное плечо сочилнсь этой радостью и нетерпелнвым желаннем черт знает чего перевернуть и наворочать.

Солнце тем временем вон как оторвалось от леса, кругов этак на пятнадцать, поменело, налнлось белой каленой ярью. Глядит Касьян: забродилн мужнчкн, один за другнм потянулнсь кто к припасеиным кувшннам, кто к лесным бочажкам. Касьян и сам все чаще заднрал подол рубахн, чтобы обтереть пот, сочившийся сквозь брови, едуче залнвавший глаза. И вот уже и он не выдержал, торчком занозил косье в землю н, иа ходу стаскивая мокрую лнпучую рубаху, побрел к недалекой горушке, из-под которой, таясь в лопушнстом копытнике, бил светлый бормотун-ключнк. Разгорнув лопушье и прнпав иа четвереиькн, Касьяи то прннимался хватать обжигающую струйку, упруго хлеставшую нз травяиой дудочкн, из обрезка борщевня, то подставлял под нее шершавое, в рыжеватой поросли лицо и даже пытался подсунуть под дудку макушку, а утолнв жажду, пригоршнями наплескал себе на спииу и, замерев, невольно перестав дышать, перемогая остуду, остро прорезавшую тело между сдвиииутых вместе лопаток, мученически стоиал, гудел всем иапряжеииым иутром, стоя, как зверь, иа четвереиьках у подиожня горушки. И было потом радостио и обновленно сндеть нагншом на теплом бугре, неспешио ладить самокрутку и так же неспешно поглядывать по сторонам.

Отсюда хорошо былн вндны сенокосиое угодье и все косцы, человек двадцать, тут и там мелькавшне рубахамн меж кустов и куртии, аккуратно обкошеиных и четко выделявшнхся темной зеленью на свежей стерне. Трав свалили уже порядком, впору раздергивать валкн, выстнлать иа просушку, вои н ветерок занграл, заполоскал листвой, и Касьян, застясь от встречного солнца, поглядел в сторону села, не ндут лн на подмогу бабы. По уговору нм отпущено время управиться по дому, но чтобы часам к одиниадцати быть иа покосе.

Бабы, и верио, уже бежалн. Касьян сперва не прнметил их средн ряби рассыпавшихся по выгону коров. Но вот от стада отделился пестрый рой и покатнлся, покатился лугом. Уже н белые платкн стало вндать, н щетннка граблей замаячила над головамн, а скоро и бабья галдеца донеслась до слуха. Спешат, судачат крнкливо на весь луг, а за торопкой этой ватажкой — хвост ребятнн, мал мала меньше. Упроснлнсь-таки, пострелята, выголоснлн себе прнключенне. Да и какому мальцу охота сндеть в опустевшей деревне, когда прнспел сеиокос, когда иеудержнмо тянет к себе парной теплынью речка Остомля, а займнще полно землянникн и всякой лесной и луговой забавы — цветов, стрекоз н птах.

Правда, Касьяи не велел появляться своей Натахе: на восьмом месяце ходнла оиа уже третьнм младенцем. Так что не очень-то перебнрал глазамн баб, не искал свою с узелком покосных гостнинцев, какне всегда было заведено носнть в луга об эту пору. С вечера сам собрал себе торбочку: отрезал ломоть сала, сунул горбушку крутого, недельного хлеба, тройку яиц, уже по темиому нащипал в огороде перышек молодого лука да заправил кнсет жменей табаку, всего-то и надо — раз присесть, перекуснть одному иакоротке. Но когда бабы уже бежали зыбкнм, в две тесииы, мостком через Остомлю, растянулись по нему, все видиые до единой, вдруг высмотрел Касьян и свою Натаху. Вот она: мелькает белыми шерстяиымн иоскамн в легкнх чуньках, белый узелок в руке, в другой руке граблн, а жнвот выше мостковых перилец. По животу, по кургузой фигуре и узнал свою. Сергунок с Митюнькой следом. Сергунок, старшенькнй, восьми годов, смело бежнт впередн по лавам, хворостннкой играючи постукнвает по встречным столбнкам. А Мнтюнька, белоголовенький, как луговой молошннк, за мамкнн подол держится, вндать, высоты бонтся. Третий годочек пошел только, впервой ему и мосток этот, и сама Остомля, и вся дорога в займнще. Все ж молодец парнишка: трн версты от дому своим ходом пробежал, мать-то уж наверняка ие пособляла, иа руки не брала. Вон как пыхкает, куда бежнт такая, дурья голова, мало ли чего с ее положением... Ох и упорна, все по-своему повериет — говори ие говори... Побраннл Касьяи Натаху за своенравие, а у самого меж тем прн виде ее полыхнуло по душе теплом, мужнцкой гордостью: прицла-такн!

Работать, конечио, он ей не дозволит, пусть под кустом с ребятами посндит, в кои-то разы поваляется на воле, какая с нее помощница, но зато, как и другне, всей семьей вместе будут. И Касьяи, отшвырнув цигарку, крупно пошагал,

почти побежал навстречу, на ходу напяливая обсохшую рубаху.

— Папка! Папка-а! — уже горланил и мчался, завидев Касьяна, старшой, и его колени дробно строчили, вымелькивали среди ромашек и колокольцев. — Папка! Мы пришли-и!

Митюнька тоже кинулся бежать к отцу, но не одолел травы, запутался, плюхнулся ничком, канул с головой, будто в бочаг, завопив горласто, басовито. Касьян отыскал по реву, цапнул пятерней за рубашонку, подкинул враз оторопело примолкшего парнишку, по-лягушачьи растопырившего кривулистые ножки, и, поймав на лету, сунулся колючим подбородком в мягкий живот. От этого прикосновения к сынишке уже в который раз за сегодняшнее утро все в нем вскипело буйной и пьяной радостью, и он, вжимаясь щекой в сдобное, пахучее тельце, утратил дар речи и лишь утробно стонал, всей грудью выдыхая нечто лесное, медвежье: «мвав! мвав!», как тогда, под струями родникового ключа. Митюнька же, позабыв свои минутные слезы, счастливо закатился от щекотки, немощно отпихиваясь обеими ручками от горячей кудлатой головы, пинал ножонками в грудь, в лицо, хватал отца за уши. А когда тот насытился лаской, мальчонка тут же, как ни в чем не бывало, цепко, привычным манером обхватил крутую Касьянову шею и завертел белой одуванчиковой головкой, озирая неведомый ему заречный мир с высоты отцовского плеча.

— Чего пришла-то? — запоздало строжась, глянул Касьян на жену остывшими от забавы глазами. — Говорил же...

— Да это они все: пойдем к папке, пойдем да пойдем.

— Мало ли чего они... Сама должна понимать.

— Да и как было не пойти? Гляну, гляну в окошко, все идут... Так ждала этого дня...

Касьян перехватил из ее рук узелок, бугристо набитый чем-то теплым, духмяным.

— Это гостинчик тебе, — пояснила Натаха.

— А грабли зачем? Или еще не натягалась?

— Я ж думала, забыл ты их. Смотрю утром, грабли дома. Дай, думаю, снесу, а то как же без граблей-то?

— Ну да, ну да, мели, а я поверю, — с укором гудлнул Касьян. — Или я тут рогулю не срубил бы. Обошелся бы и без граблей...

— Да ладно тебе, Кося. — Натаха обхватила Касьянову руку, повисла на ней, заглядывая в лицо. — Или не рад, што ли, нам?

— Ну, ладно, ладно нежности разводить, — озирнулся по сторонам Касьян. — Идем к месту, раз уж пришли.

На своей обкошенной деляне он опустил на землю Митюньку, сложил к его ногам узелок и, завернув беремок уже обвялой медово истекавшей кошенины, отнес его под куст краснотала.

— Во! Тут сидите, — приказал Касьян, расстилая траву в тени. — На-кось тебе, Сергунок, ножичек, поиграйся. Свистульку вырежи. Себе и Митрию. Смотри, не зарони.

— Не-е! — обрадовался Серёнька, обеими руками принимая от отца заветный складничек. — Я его покамест в карман спрячу.

— А никак, дырка в кармане?

— Какая дырка? — засмеялась Натаха. — Ты, отец, и не видишь, что у твоих сынов штаны новые?

— Глянь-кось! — изумился Касьян. — А я и правда не вижу. Ну-ка, Серёнь, повернись, погляжу.

Сергунок, засунув руки в карманы, горделиво прошелся в новых штанах туда-сюда.

— И я! И я в новых! — потребовал к себе внимания младшенький.

— Дак и ты! Ну, герои! Ну, молодцы! — похвалил отец. — И в каком же таком магазине куплены такие хорошие штаны? Да еще с карманами!

— Это мамка нам сшила.

— Неужто мамка? — опять нарочито изумился Касьян. — Экая рукодельница у нас мамка!

— Вчера дошила, — радостно закраснелась Натаха от своего же признания.

— На руках? — продолжал играть Касьян. — Ну, чудеса! А как магазинские!

— Машинкою оно б поладней вышло. Да уж какие получились.

— А чего? Хорошие штаны! Ну, давай, Натаха, займись с ими, — кивнул он на ребятишек. — Пить захотите, вон горушка, а под нею ключик. Там и ягод полно, позабавьтесь.

— Где? Па, где ягоды? — навострился Сергунок.

— Да вона, вишь бугор! Прямо обсыпан весь. Ложись на живот и ешь. Ну, давайте, давайте, делайте чего-нибудь. А то я вон сколь время потерял с вами.

Еще издали нетерпеливо примериваясь глазами, жадно целясь в незавершенный прокос, Касьян поплевал на руки и выдернул из земли косье. Чувствуя, что за ним наблюдают домашние, он, превозмогая боль в плече, молодцевато, одним духом выбрил закоулок между двумя куртинками ивняка и уже было собрался без всякого роздыха сделать новый зачин, как, обернувшись, увидел позади себя Натаху. Насунув на глаза платок, она негнуче, бугрясь тяжким животом, неловко накидывала грабли, пытаясь раздергивать неподатливые, уже успевшие слежаться пласты кошенины. Сергунок с Митюнькой тоже вовсю старались, пыхтя, загребали еще нехваткими руками сырую траву и, зарывшись в ней с головой, тащили и раскладывали по поляне.

— Ого, я сколько! — радостно звенел голосок Митюньки. — Мам, мам, погляди!

— А ну, брось! Брось! — осерчал Касьян, подбегая к Натахе. — Или время свое не знаешь?

Натаха приостановилась, оперлась о держак.

— Да я, Кося, легонечко. — Круглое ее лицо жарко румянилось под слабой тенью косынки. — Трава парится, а я сидеть стану.

— Гляди, девка, не шуткуй мне с этим.

— Да не бойся ты! Чудной, право! Разве это трудно — граблями-то шевелить? Парню одна польза от этова, когда не сидеть.

— Какому парню? — не понял Касьян.

— Как это какому! А который будет.

— А ты почем знаешь, что парень?

— Да уж знаю. Поди, не впервой. Я-то ваш завод за три месяца чую. Драчунов. — Натаха сдернула на затылок платок, открыла мужу усмешливое лицо. — Или уже не нужен парень-то?

— Чево городишь пустое?

Чтобы скрыть толкнувшую его отцовскую радость, Касьян полез за кисетом. Слюнявя языком цигарку, он кивнул на ребятишек.

— Гляди-ка, косари наши стараются. Работнички! А Митька, Митька-то, ну, пыхтун! — и смягченно, толкнув Натаху в плечо, сказал: — Ну, ладно... Ты смотри тут, не дюже-то... А я пойду покошусь. Сенá-то нынче какие, а? Эх, благодать-то!

2

Часу в двенадцатом, когда уже припекло невмоготу, косари начали разбредаться по кустам, по семейным сижам. Касьян, докосив свое, побег еще помочь Натахе разбросать валки, а когда и с этим управились, велел кликнуть обедать пацанов, которые успели улепетнуть на бугор по ягоды. Сам же пошел к мужикам, не терпелось поглядеть, у кого сколько накошено.

Воротился он, когда Натаха уже выложила свои покосные гостинцы — бутылку молока для ребят, черепушку томленной на сале картошки, дюжину румяных пирожков, лоснившихся, отпотевших от собственного тепла.

Касьян довольно хмыкнул, увидев пироги: когда и напечь успела! Однако, вытащив из куста и свою торбочку, объявил:

— Давай, Натаха, собирай все это. Мужики к себе зовут.

— А может, одни посидим?

— Пошли, пошли. — Касьян подхватил Митюньку на руки. — Чего мы одни будем. Нехорошо сторониться.

Под разметавшимся кустом калины в тучных набрызгах завязи, где устроил свой стан Иван Дронов, колхозный бригадир, уже собралась целая ватага. Бабы отдельной стайкой примостились по одну сторону калины, мужики — по другую, разморенно развалясь и так и этак, покуривали в прохладной траве. В стороне, невидимый на жаре и солнце, потрескивал, дрожал светлым пламенем большой бездымный костер, распаленный ребятишками. На рядне, разостланном по выкошенной палестинке, горкой высилась складчина: снесли вместе и навалили безо всякого порядка яиц, бочковых огурцов, отварной солонины, охапок лука, чеснока, картошки, сала, и все это вперемешку с пирогами всех фасонов и размеров — серыми, белыми, ржаными, кто на какие сподобился.

— Мир вам, люди добрые, — чинно поклонилась Натаха и выложила и свою снедь на общую скатерть.

— Давай, давай, Наталья, подсаживайся.

— Ох ты, пир-то какой! — подал из-под куста голос косец Давыдко. — Тридцать три пирога с пирогом, да все с творогом! Ужли все одолеем?

— А чего ж не одолеть? — откликнулись бабы, — Враз и умолотим.

— Ой ли... — засомневался Давыдко, дочерна запеченный мужик в серебре щетины по впалым щекам. — Оно ведь о сухую траву и коса тупится...

Мужики сразу поняли Давыдкин уклон, оживленно поддержали:

— Да уж надо бы... тово... для осмелки.

— Оно, конешно, смочить начатое дело не помешало бы.

— Ох! Сразу и за свое! — дружно накинулись, зашумели бабы. — Мочильщики! Сперва управьтеся, а тади и замачивайте. Сказано: конец — всему делу венец.

Но Давыдко тут же оборол бабью присказку своим присловьем:

— Однако и говорится: почин дороже овчин. А уж почин нынче куда с добром!

— Да уж чево там! — закивали мужики. — В кои годы такое видано. По таким сенам оно бы от самого правления магарыч поставить.

— За таким-то столом и чарка соколом, — вставил свое слово и дедушко Селиван, одинокий старец, тоже поохотившийся наведаться в покосы — кому в чем помочь поелику возможно, а больше пообтираться среди мужиков, вспомнить и свое былое, прошедшее. — Не перечьте, бабоньки. Дорого не пиво, а изюминка в ем. В одном селе живем, а за одним столом не каждый день сиживаем.

— Ну, раз такое дело... — подбил разговор Иван Дронов. — Тогда вот чево. Бери, Давыдко, моего мерина, вон, вишь, в воде на песках стоит, да скачи в сельпо. Скажи продавщице, что, мол, шесть бутылок в долг до завтрева. А завтра, скажи, бухгалтер отдаст.

— А ежели не отдаст, заупрямится?

— Отдаст, говорю. Дело артельное. Потом на веревки спишет.

— Бумажка какая будет? — заколебался Давыдко.

— Валяй без бумажки. Скажи, Дронов просил.

— Ага, ага. Тогда уж спрошу десять головок. Чево уж дробить.

Маленький щуплый бригадир дернулся книзу щекой, как делалось с ним всякий раз, когда ему попусту возражали.

— Сказано: шесть! — отрезал он, насунув белые ребячьи брови.

— Хватит и этова, — поддержали бригадира женщины.

— Да я ж за вас и хлопочу. С вами вон нас сколько.

— Обойдемся, таковские.

— Шесть дак шесть. — Посыльный поднялся, поддернул штаны. — Дай-ка, Касьян, твою торбу.

Босый Давыдко побежал трусцой к реке.

Дело было затеяно, пусть и праздное, а потому никто не притрагивался к еде, одних только детишек оделили пирогами да крутыми яйцами, и те побежали на бережок Остомли. Сами же мужики уже в который раз принимались за курево, в нетерпеливом ожидании наблюдали, как Давыдко, засучив штанины, ловил в реке мерина, не дававшего себя обратать, как потом долго водил его по отлогому берегу, ища какое-нибудь возвышение, опору для ног, как наконец все-таки взгромоздился, перекинувшись животом поперек хребтины, и в таком положении норовистый мерин попер его неглубоким бродом. На той стороне Давыдко выпрямился, окорячил коняку, поддал ему голыми пятками и сразу хватил галопом.

Было видно, как он проскочил стадо, улегшееся на жвачку, и вот уже малой букашкой едва приметно зачернел на узволоке, на деревенском взгорье.

— Ну, лих парень! — усмехались под кустом мужики. — Прямо казак.

— Казак — кошелем назад, — съязвил кто-то из бабьего стана. — За этим-то он швыдок. Пошто мне соха, была бы балалайка.

— Ох ты, мать честная! Сегодня же воскресенье! Магазей не работает, — вспомнил кто-то из мужиков.

— А и верно, братцы. Как же это мы не подумали?

— Ничево! Этот найдет! Под землей, а Клавку сыщет. У нее дома завсегда припасено.

Слушая мужиков, Касьян из-под полусмеженных век умиротворенно поглядывал, как Натаха, упрятавшись от жары под резное кружево калиновых листьев, трудно, неудобно сидя на земле, баюкала на руках сомлевшего Митюньку, отмахивая от его потного личика молодых июньских комарков, еще неумело докучавших в тенистой прохладе. Она и сама взопрела, отчего на круглом простеньком лице грубо проступили предродовые пятна. Но от этой временной Натахиной дурноты, от сознания внутренней тайной работы, которая, несмотря ни на что, свершалась в ней ежеминутно и которую она молча перебарывала и терпела, Натаха казалась ему еще роднее и ближе, ответно полня все его существо тихим удовлетворением. И когда это она успела и штанишки ребятам исшить, и пирогов напекти... Вот получу на трудодни сено, куплю ей швейную машинку, думал он, начиная задремывать. Пусть себе рукодельничает.

Привиделось ему, будто и на самом деле славно выручился он за излишки сена и дали ему совсем новую пачку денег, еще не хоженых по рукам, перепоясанных красивой бумажной ленточкой. Сели они с женой за стол считать. Натаха радуется, постелила белую скатерть, чтоб чисто было, ничего не мешало счету. Касьян разрезал на ровном, аккуратном кирпичике опояску, поплевал на пальцы, метнул на стол первую денежку. Новенький червонец перевернулся в воздухе и лег на самой середине скатерти другой стороной. Глянули, а это вовсе не червонец, а король червей! Переглянулись они с Натахой: что за притча? Касьян метнул еще раз — шестерка крестовая! «Глянь-ка, — всплеснула руками Натаха, — да ведь король — это ж ты, Кося! А шоха — это тебе дорога будет. А ну кинь, кинь еще». Кинул Касьян очередной червонец — и опять все своим чередом: лощеная бумажка повернулась и выложилась на стол тузом — посередине бубна, вроде подушки-думки, а от нее в разные стороны красные перья, будто огонь брызжет, жаром пылает. «Во! — опять изумилась Натаха. — Туз — это казенный дом означает, какая-то контора». — «Нет, это не контора, — не согласился Касьян. — Ежели казенный, дак не иначе, как магазин. Я, откроюсь тебе, в самый раз туда собирался. Швейную машинку хочу купить. Хочешь швейную машинку?» — «Ой, родненький! — обрадовалась Натаха. — Да как же не хотеть? Я и сама про нее все время мечтаю, да боюсь тебе сказать». — «Ну вот, родишь мне сына, и куплю. Истинное слово!» — «Ну, тогда дай я еще выну карту, у меня рука легкая», — Натаха перехватила пачку, принялась перетасовывать, тесать остренькие червонцы промеж собой, а потом весело зажмурилась и потянула ощупью из самой середки. «Ну-ка, гляди, Кося, какая?» — Она подкинула бумажку, чтоб подольше летела, и та заходила над столом кругами. Кружит и не падает, вьется и все никак не ложится. А потом вертанулась и объявилась дамой пик: белая невестина фата на ней, а сама желтый цветок нюхает. Увидела даму Натаха, покраснела, смутилась вся: «Нет, Кося, не ту карту вытянула. Я ж другую хотела». — «Как же не ту? — возразил Касьян. — Все верно: это же наша Клавка-продавщица! Все сходится у нас с тобой!» — «Ну как же ты не видишь? — это же ведьма! Пиковая да-

ма завсегда ведьмой считалась». — «А Клавка и есть змея подколодная, — засмеялся Касьян. — Опять скажет, дескать, яички сперва давай, а потом и машинку спрашивай. А у нас до пая еще триста штук не хватает. Клавка и есть, ее рожа». Стали разглядывать, а у дамы вовсе и не лицо уже, а череп кладбищенский: глаза пустые, зубы ощерены и желтый лютик-дурман к дырявому носу приставлен. «Ох, Касьян, Касьян, гляди получше: не Клавка это... Вот тебе крест», — «Да кто же еще, дуреха, кому быть-то?» — «Не знаю, родненький, но токмо не продавщица она... Какая-то не такая эта денежка, уж не фальшивая ли? Ты вот не посмотрел сразу, когда деньги-то брал, доверился, а тебе и подсунули, недотепа». Касьян взял в руки диковинную бумажку, повертел и так, и этак, положил обратно, но уже не дамой, а обратной стороной, червонцем кверху. «Да ты не прячь ее, — вскинулась Натаха. — Так-то от нее не отделаешься. Ты давай бери-ка да снеси нашему бухгалтеру, сменяй у него на хорошую, а он потом в банке поменяет». — «Да не возьмет он, дьявол косоглазый! Скажет: тебе всучили, ты и отбояривайся». — «Ну, тади Лексею Махотину отнеси: я у них, у Махотиных, помнишь, десятку занимала налог уплатить. Вот и возверни ему. Сверни пополам, чтоб пика внутри оказалась, и подай. Мол, спасибо, извините, что не сразу. А он и примет, не догадается». — «Нет, — сказал ей Касьян. — Негоже такое делать. Нам с тобой выпало, чего уж другим подсовывать. Да и подумаешь — десятка! У нас их вон еще сколь! Тут тебе не только на швейную, а и на плюшевый жакет хватит, и на пуховый платок. Все твои! А эту мы вон как...» Касьян схватил даму, рванул ее пополам, сложил половинки и еще располовинил, а потом покрошил и того мельче. «Вот тебе и вся недолга, — засмеялся он довольно. — Была и нету ее».

Касьян слышал, как тормошил его кто-то, торкал ногою лапоть, но никак не мог побороть сна, да и очень уж хотелось довести задуманное до конца — забежать в сельпо и купить Натахе обещанный подарок. Но ему, как нарочно, мешали:

— Вставай, вставай, Касьян! Хватит дрыхнуть. Давыдко вон уже скачет.

Кто-то повозил в носу травинкой. Касьян отчаянно чихнул и под дружный хохот подхватился и сел, подобрав коленки.

Промигав все еще изморно слипавшиеся глаза, он глянул за реку: по знойной ровноте выгона и впрямь уже мчался Давыдко. И все засмотрелись на его разудалый скач — локти крыльями, рубаха пузырем, а сам, не переставая, знай наяривает мерина пятками. По тому, как он поспешал, охаживал лошадь, всем стало ясно, что гонит он так неспроста, что наверняка разжился, раскопал-таки Клавку, иначе чего бы ему палить коня без всякого резона.

— Ну, артист! Вьюн-мужик!

Косари, повскакав на ноги, засмотрелись на Давыдкину лихость.

— Этак и бутылки поколотит.

— Умеючи не поколотит. Должно, переложил чем-нибудь.

— Эх, ребята, а и верно, промашку дали: надо было все ж таки десять штук заказывать. Чего уж там!

Между тем Давыдко, даже не придержав коня, на рысях скатился с кручи; было видно, как посыпались вслед и забухали в воду ковалки сухой глины. Мерин ухнул в реку и, поднимая брызги, замолотил узловатыми коленками.

— Да что ж он, скаженный, делает! Детей подавит, — всполошились бабы, когда верховой выскочил на эту сторону и голые ребятишки, валявшиеся на песке, опрометью шарахнулись врассыпную.

— Да не пьяный ли он часом?! — встревожились бабы. — Эк чего выделывает! По штанам, по рубахам прямо!

— А долго ли ему хлебнуть, паразиту!

— Бельма свои залил — никого не видит.

Еще издали, там, на песках, Давыдко заорал, замахнулся кулаком — на ребятишек, что ли? — и все так же колотя пятками в конское брюхо и что-то горланя — «а-а!» да «а-а!» — пустился покосами. Раскидывая оборванные ромашки и головки клевера, мерин влетел на стан и, загнанно пышкая боками, осел на зад. Распахнутая его пасть была набита желтой пеной. Посыльный, пепельно-серый то ли от пыли, то ли от усталости, шмякнув о землю пустую торбу, сорванно, безголосо выдохнул:

— Война!

Давыдко обмякло сполз с лошади, схватил чей-то глиняный кувшин, жадными глотками, изнутри распиравшими его тощую шею, словно брезентовый шланг, принялся тянуть воду. Обступившие мужики и бабы молча, отчужденно глядели на него, не узнавая, как на чужого, побывавшего где-то там, в ином бытии, откуда он воротился вот таким неузнаваемым и чужим.

С речки, подхватив раскиданные рубахи и майки, примчались ребятишки и, пробравшись в круг своих отцов и матерей, притихшие и настороженные, вопрошающе уставились на Давыдку. Сергунок тоже прилепился к отцу, и Касьян прижал его к себе, укрыв хрупкое горячее тельце сложенными крест-накрест руками.

Давыдко отшвырнул кувшин, тупо расколовшийся о землю, и, ни на кого не глядя, не осмеливаясь никому посмотреть в лицо, будто сам виноватый в случившемся, запаленно повторил еще раз:

— Война, братцы!

Но и теперь никто и ничего не ответил Давыдке и не стронулся с места.

В лугах все так же сиял и звенел погожий полдень; недвижно дремали на той стороне коровы, с беспечным галдежом и визгом носились над Остомлей касатки, доверчиво и открыто смотрели в чистое безмятежное небо белые кашки, туда-сюда метались по своим делам стрекозы, — все оставалось прежним, неизменным, и невольно рождалось неверие в сказанное Давыдкой: слишком несовместимо было с обликом мира это внезапное, нежданное, почти забытое слово «война», чтобы вдруг сразу принять его, поверить одному человеку, принесшему эту весть, не поверив всему, что окружало, — земле и солнцу.

— Врешь! — глухо проговорил бригадир Иван Дронов, неприязненно вперив в Давыдку тяжелый взгляд из-под насунутой фуражки. — Чего мелешь?

Только тут людей словно бы прорвало, все враз зашумели, накинулись на Давыдку, задергали, затеребили мужика:

— Да ты что, кто это тебе сказал?

— Мы ж только оттуда, — напирали бабы. — И никакой войны не было, никто ничего.

— Да кто это тебе вякнул-то?

— Может, враки пустили.

— Потому и ничего... — отбивался Давыдко. — Дуська ныче не вышла, у нее ребенок заболел...

— Какая Дуська? При чем тут какая-то Дуська?

— Дак счетоводка, какая ж...

— Ну?!

— Вот и ну... А бухгалтер кладовку проверял, не было его с утра в конторе. А Прохор Иваныч тоже был уехамши. Может, и звонили, дак никого при телефоне-то и не сидело. А война, сказывают, еще с утра началася.

— Да с кем война-то? Ты толком скажи!

— С кем, с кем... — Давыдко картузом вытер на висках грязные подтеки. — С германцем, вот с кем!

— Погоди, погоди! Как это с германцем? — продолжал строго допытывать Иван Дронов. — Какая война с германцем, когда мы с им мир подписали. Не может того быть! И в газете о том сказано. Я сам читал. Ты откуда взял-то? За такие слова, знаешь... Народ мне смущать.

— Поди, кто сболтнул, — снова загалдели бабы, — а он подхватил, нате вам: война! Ни с того, ни с сего.

— Не иначе, брехня какая-то, — обернулся к Касьяну Алешка Махотин, кудлатый, в смоляных кольцах косарь. Перочинным ножичком он машинально продолжал надрезать квадратики и выковыривать кожуру на ореховой тросточке, которую от нечего делать затеял еще в ожидании Давыдки.

— Мир-то мир, а с немцем всякое может статься, — запальчиво выкрикнул дедушко Селиван. — С германца спрос таковский. Немец, он и бумагу подпишет, да сам же ее и не соблюдет. Бывало уж так-то, в ту войну, в германскую.

Однако мужики и сами уже нутром почуяли, что посыльный не врал, им только не хотелось в это поверить, потому что от худой этой вести многое, может быть, придется отрывать, бросать и рушить, о чем пока не хотелось и думать, а потому их наскоки на Давыдку выглядели всего лишь неловкой и бессильной попыткой остановить время, обмануть самих себя. Давыдко же, пятясь под их гомонливым натиском, вдруг взъярился, закричал сипло, с пробившимся визгом в сорванном голосе:

— Да вы чего на меня-то? Чего прете? Стану я врать про такое! Да вон слухайте сами!

Со стороны деревни донесся отдаленный, приглушенный, а потому особенно тревожный своей невнятностью торопливый звон. Разгулявшийся ветер то относил, совсем истончая ослабленные расстоянием звуки, низводя их до томительной тишины, до сверчковой звени собственной крови в висках, то постепенно возвращал и усиливал снова, и тогда становилось слышно, как на селе кто-то без роздыху, одержимо бил, бил, бил, бил по станиливому железу.

Вслушиваясь, Иван Дронов сомкнул губы в неподвижную, омертвелую кривую гримасу и сосредоточенно, уйдя в себя, глядел в какую-то точку под ногами; молчали мужики, теребя подбородки и бороды, помалкивал и Касьян, враз ознобленный случившимся, с тупым отвлекающим интересом уставясь на Алешкины руки, по-прежнему ковырявшие красивую тросточку; обникли плечами, словно бы заострились, стали ниже ростом женщины, склонили свои белые глухо насунутые платки и косынки. И только дети, обступившие Давыдку, ничего не понимая, недоуменно смигивали, переметывались синью распахнутых глаз по лицам взрослых вдруг сделавшихся, как Давыдко, тоже неузнаваемыми и отчужденными.

Да еще Натаха как сидела под калиновым кустом, так и осталась там. Митюнька с зеленым ивовым пищиком в кулачке безмятежно посапывал на ее коленях. Он спал под сенью крутого материнского живота, отделенный от своего будущего братца теплой, натужно взбухшей перегородкой. Натаха, не переменяя позы, терпеливо помахивала рукой над белой головкой, под рассыпчатыми вихрами которой, должно быть, парили во сне веселые луговые птахи и сам он, Митюнька, заходясь счастливым испугом от высоты, парил вместе с ними над беспредельностью остомельской земли.

А из села заливисто и тревожно каким-то далеким лисьим тявканьем опять доносилось:

— А-ай, а-ай, а-ай...

Иван Дронов наконец первым очнулся, крутиул головой, как бы отмахиваясь от этого лая, обвел всех тягучнм взглядом н объявил с глубнннным выдохом, будто собирался ступить в ледяную воду:

— Ну, людн, пошлн! Слышите, зовут нас...

Старая Махотнха, Лешкина мать, обморочно всплеснула вялымн плетьями рук, закрылась нмн и завыла, завыла, терзая всем душн, уткнув лнцо в черные костлявые ладони.

3

С покосов уходили молчаливым гуртом, ощетнненным граблями, деревяннымн рогатыми внлами, посверкнвающнмн косамн, добела отмытымн травой, — словно н впрямь ополчение, клнкнутое отражать негаданную напасть. И будто какой воевода выснлся на своем мерине над картузамн н косынкамн пеших людей брнгаднр Иван Дроиов все с той же непроходящей сумрачной кривниой на сомкнутых губах. Даже детишки попрнмолкли и без обычного гомона и непременного баловства труснлн рысцой, поспевая за старшими, и, чуя неладное, каждый держался поблизости от отца илн матери. Парнишки упрямо ие оставлялн своих иехитрых трофеев — кто ореховый хлыстик для удилища, кто срезанную развилину для желаниой рогатки, а кто прятал в прижатом к груди картузе несмышлеиого слетка, желторотого дроздеиыша, конми в покосы всегда кипело урочнще. На головках у девочек, еще иедавно в праздничиом разноцветье лугов воображавших себя сказочнымн царевнами, в жалкой теперь неиужности мелькали цветочные венкн, обвядшие, безвольно поникшне, о которых девочки, наверио, уже и ие помнили. Иные в затвердело сжатых кулачках, как бесценное сокровнще, иеслн перед собой пучки земляникн. Вдосталь пособирать ее так и не довелось, н почти у всех пучки былн жиденькие, недобранные, с непрогретой зеленцой на редкнх дрожлнвых ягодах.

Но уже за Остомлей, на ровном выгоне, брнгада рассыпалась, разбилась на мелкие кучкн, а те подробнлнсь и того мельче, — кому мешали поспешать малые дети, кого удержнвалн квелые старнки. Не утерпел, ускакал на голос все еще лязгающего железа Иван Дронов, крнкнув только с коня:

— К правлению давайте! К правлению!

Народ растянулся от берега почти до самого деревенского взгорья. Однн уже одолевали последний узволок, по зелеиому косо прорезанный светлой песчаиой дорогой, другие подступали к стаду, а одииокнй дедушко Селиван еще только перебирался по мостку. Не отрывая от иастильных плах своих войлочиых поршеиьков, выстланных сеиом, ои мелко, опаслнво шаркал подошвами, по-птичьи цепко перехватывал неошкуренное березовое перильце. И ему, должио, казалось, что и он тоже поспешал, бежал вместе со всеми.

А позади, иад иедавним стаиовнщем, уже слеталось, драчлнво каркало воронье, растаскивая впопыхах забытую артельную складчину: яйца, сало и еще не простывшне пнроги.

Касьян, посадив на плечн Митюньку, сдерживал себя от бега, щадил жену, тяжело ступавшую рядом, с косой н граблями, ио та, упорная, все наддавала и иаддавала, вострясь лнцом на деревню.

— Да не бегн, не беги ты так! — в сердцах окорачнвал ее Касьян. — Чего через силу-то палншься!

— Все ж бегут...

— Тебе-то иебось и ие к спеху.

— Я-то ннчего... да ногн... сами бегут... — приговаривала она, хватая воздух. — А тут ещё звякают... Хоть бы не звякалн, что лн... Душа разрывается...

— Сядь передохнн, слышь! Не в деревне ж война. А ты бегншь, запаляешься. Как бы худо не стало...

— Ох, иет, Кося! Пошли, пошлн... Нехорошо как-то... Неспокойно мне... А ежлн тебя возьмут... А у меня ннчего не готово, не постирано...

— Ну дак не сразу ж. А может, н вовсе не возьмут.

— Да как же не взять? То лн ты хромый илн крнвой какой?

— Сперва молодых должиы. А уж потом, как пойдет. А то, может, и однһми молодыми управятся. Вот н польская была, н финская, а меня не тронули. Ну-ка, однһх молодых кликни, и то сколь, ого-о!

— Ох, Кося, в фннскую так-то вот не звякалн, не скликали. Тогда тнхо все было...

Деревня уже каждой своей избой хорошо внделась на возвышенни. Касьян привычио отыскал и свой домок: как раз напротив колодезного журавца. Он всегда был тнхо, со сдержанной молчаливостью прнвязаи к своему дому, особенио после того, как прнвел в хозяйкн Натаху, которая как-то сразу прншлась ко двору, признала его своим, будто тут н родилась, и без долгих прнглядок хлопотливо заквохтала по хозяйству. Да и у него самого, как прннял от отца подворье, стало прнвычкой во всякую свободную минуту обходнть, окидывать со всех сторон жилье, иадворные хлевушки, погребнцу, ладно срубленный, сухой и прохладиый, на высокой подклетн амбарчнк, в три хлыста увязаниый все еще свежий плетень, всякнй раз иеспешио прнсматривая, что бы еще такое подделать, укрепить, подпереть или перебрать заиово. За годы собрался у него всякий инструмент — и по дереву, н по железиому делу, а каждую найдеииую проволочку или гвоздок,

рассмотрев н прнкинув, определял про запас в заветный тайнннчок. Позапрошлой весной заменил иа своей избе обветшалые иаличинкн иа новые, за долгую зиму урывками между конюховаиием сам навыдумывал, навыпнливал всяких по инм завитков и кружевцев, потом покраснл голубеньким, а кое-где, в нужных местах, сыграл кииоварью, и от всего этого изба враз весело обиовилась, невестой засмотрелась в божий мнр. Касьяну и самому никогда не иаскучнвало поглядывать в эти окоица, все, бывало, отвериет занавесочку, обежит сквозь стекло глазамн, хотя внделось в общем-то одио и то же: одиообразиый до самой Остомлн выгон, поза которым курчавилось покосиое займище, а уж потом, у края иеба, дремотно и угрюмовато маячил матерый лес. Простая и привычиая эта картина, ее извечиая, сколь себя помнит Касьяи, неизмениость откладывались в сознанни незыблемостью и самой Касьяновой жнзни, и ои иичего не хотел другого, как прожить и умереть иа этой вот земле, родной н привычиой до каждой былки.

Но вот бежал выгоном Касьян с Натахой, пытливо взглядывался в свое подворье, которое столь старательно укреплял н ухорашнвал, н, наверно, впервые прн виде голубых окошек испытывал незиакомое чувство щемящей неприютности. Слово «война», ужалившее его там, на покосах, как внезапиый ожог, который ои поиачалу вроде бы и не очень почувствовал, теперь, одиако, пока он бежал, начало все больше саднить, воспаленио вспухать в его голове, постепенно разрастаться, заполияя все его сознаине ноющим болезненным прнсутствием. Но сам он еще не мог понять, что уже был отравлеи этой зловещей вестью, ее иеисцелнмым дурмаиом, который вместе с железным звоиом рельсового обрубка где-то там на деревне уже носнлся в воздухе, неотвратимо разрушая в нем привычиое воспрнятие бытия. О чем бы ои мельком нн подумал — о брошенном ли сеие, о ночном дежурстве на коиюшне, о том, что собирался почистить и просушнть погреб, — все это тут же казалось неиужным, утрачивало всякий смысл н значение.

Он бежал и все больше не узиавал ни своей избы, ии деревии.

Вытравленным, посеревшнм зрением глядел он на пригорок, и все там представлялось ему серым и незнакомым: сиротливо серые избы, серые ветлы, серые огороды, сбегавшие вниз по бугру, серые ставнн на каких-то потухших, незрячих окиах родной избы... И вся деревня казалась жалко обнаженной под куда-то отдалившимся, ставшим вдруг равнодушно-бездоиным небом, будто и не было вовсе, будто его сорвало и унесло, как срывает н уносит крышу иад обжитым и казавшнмся надежным прнбежищем.

Не хотелось Касьяну сейчас в деревню, не тянуло его и домой. Ему чудилось, будто их изба тоже стояла без крыши, обезглавленная до самого сруба, с разверстой дырой в серую пустоту, и он, все более раздражаясь, не понимал, почему так рвется Натаха туда, где уж нельзя было ни спрятаться, ни укрыться.

— Да не беги ты, как полоумная! Сядь, отдохни перед горой-то!

— Нечего уж...

— Экая дура!

— Теперь вот оно, добежали.

— Да ведь не пожар, успеется.

— Кабы б не пожар...

— Па, а па! — вскинул на отца возбужденный взгляд Сергунок. — А тебе чего дадут: ружье или наган?

Касьян досадливо озирнулся на Сергунка, но тот, должно быть, воображая себе все это веселой игрой в казаки-разбойники, горделиво посматривал на крупно шагавшего отца, и Касьян сказал:

— Ружье, Сережа, ружье.

— А ты стрелять умеешь?

— Да помолчи ты...

— Ну, пап!

— Чего ж там уметь: заряжай да пали.

Невольно перекидываясь в те годы, когда отбывал действительную, Касьян с неприятным смущением, однако, вспомнил, что не часто доводилось стрелять из винтовки: день-деньской, бывало, с мешками да тюками, с лошадьми да навозом. Не нужно оно было ни с какой надобности, это самое ружье.

— Ружье лучше! — распалял себя мальчишеским разговором Сергунок. — К ружью можно штык привинтить. Пырнул — и дух вон.

— Ага, можно и штык...

— Штык он во-острый! Я видел у Веньки Зябы. Он у них в амбаре под латвиной спрятан. Только весь поржаветый.

— Што, говоришь, в амбаре? — вяло переспросил Касьян, занятый своими мыслями.

— Да штык! У Веньки у Зябы.

— А-а... Ну-ну...

— Вот бы мне такой! Я бы наточил его — ой-ей! Раз их, р-раз! Да, пап? И готово!

— Кого это?

— Всех врагов! А чего они лезут.

— А мне стык? — подхватил новое слово Митюнька. — Я тоза хоцю сты-ык!

— Тебе нельзя, — важно сказал Сергунок. — Он колется, понял.

— Мозно-о!

— А ну хватит вам про штыки! — оборвала паринешек Натаха. — Тоже мне кольщики. Вот возьму булавку да языки и накыляю, штоб чего не след не мололи.

Уже наверху, на въезде в село, Касьян ссадил с себя Митюньку и, не глядя на жену, сказал:

— Схожу в колхоз, разузнаю. А вы ступайте домой, нечего вам там делать.

И еще не отдышавшись, Касьян полез за кисетом, за мужицкой утехой во всякой беде. Он крутил косулю, и пальцы его непослушно дрожали, просыпая махру.

Новая, крепкая правленческая изба без всяких архитектурных премудростей, если не считать жестяной звезды, возвышенной над коньком на отдельном шестике, с просторным крыльцом под толстой, ровно обрубленной соломой, была воздвигнута за околицей прямо на пустыре. Прошка-председатель не захотел ставить новую контору на прежнем месте, в общем деревенском порядке, где каждое утро и вечер с ревом и пылью, оставляя после себя лепехи, проходило усвятское стадо, и день-деньской возле правления ошивались чьи-то куры и поросята. Он сам выбрал этот бросовый закраек, пока что неприютный своей наготой и необжитостью. Но меж лебедой и колючником уже поднялись тоненькие, в три-четыре веточки, саженцы, обозначавшие, как Прошка уважительно выражался, будущий парк и аллеи — заветную его мечту.

Касьян, поспешая через пустырь, еще издали увидел подле конторы роившийся народ, дроновского мерина и председательские дроги у коновязи. При виде этого непривычного людского скопища середь рабочего дня Касьяна еще раз обдало мурашливым холодком, как бывало с ним, когда вот так, случалось, подходил он к толпе, собравшейся возле дома с покойником. Да и здесь тоже нынче что-то надломилось: что-то отошло в безвозвратное, и не просто жизнь одного человека, а почитай всей деревни сразу.

Рельса все еще надсадно гудела. Полуметровая ее культя была подвешена перед конторой на специальной опоре, покрашенной, как и сама контора, в зеленую краску. Звонить по обыденности строго-настрого возбранялось, и лишь однажды был подан голос, когда от грозы занялась овчарня. В остальное же время обрубок обвязывали мешковиной, чтобы не шкодили ребятишки. Конторский сторож Никита, которому в едином лице предписано право оглять набат по особому Прошкиному указанию, сегодня, поди, давно уже отбил руки, и теперь, пользуясь случаем и всеобщей сумятицей, в рельсу поочередно трезвонили пацаны, отнимая друг у друга толстый тележный шкворень. Били просто так, для собственной мальчишеской утехи, еще не очень-то понимая, что произошло и по какой нужде скликали они своих матерей и отцов.

Люди, тесня друг друга, плотным валом обложили контору. Крепко разило потом, разгоряченными бегом телами. Касьян, припозднившийся из-за Натахи и приспевший чуть ли не последним из косарей, начал проталкиваться в первый ряд, смиряя дыхание и машинально сдергивая картуз. Высунулся и ничего такого особенного не увидел: на верхней ступеньке крыльца, уронив голову в серой коверкотовой закапанной мазутом восьмиклинке, подпершись руками, сидел Прошка-председатель, поверженно и отрешенно глядевший на свои пыльные закочуреннные сухостью сапогн.

Помимо косарей, сбежался сюда и весь прочий усвятский народ — с бураков, скотного двора, Афоня-кузнец с молотобойцем, и даже самые что ни на есть запечные старцы, пособляя себе клюками и костыликами, приплелись, прнковыляли на железный звяк, на всколыхнувшую всю деревню тревогу. И подходя, пополняя толпу, подчиняясь всеобщей напряженной, скрученной в тугую пружину тишине, люди примолкали и сами непроизвольно никли обнаженными головами.

А Прошка-председатель все так и сидел, ничего не объявляя и ни на кого не глядя. Из-под насунутой кепки виден был один лишь подбородок, время от времени приходивший в движение, когда председатель прннимался тискать зубы. Касьян думал поначалу: потому Прошка молчит, что выжидает время, пока соберутся все. Но вот и ждать больше некого, люди были в сборе до последней души.

Наконец, будто хворый, будто с разломленной поясницей, Прошка утружденно, по-старнковски приподнялся, придерживаясь рукой за стояк. И вдруг, увидев возле рельсы ребятишек, сразу же пришел в себя, налился гневом:

— А ну, хватит! Хватит балабонить! Нашли, понимаешь, игрушку. Никита! Завяжи колокол!

И, как бы только теперь увидев и всех остальных, уже тихо, устало проговорил, будто итожа свои недавние думы:

— Ну, значит, такое вот дело... Война... Война... товарищн.

От этого чужого леденящего слова люди задвигались, запереминались на месте, проталкивая в себя его колючий, кровенящий душу смысл. Старики сдержанно запокашливали, ощупывая н куделя бороды. Старушки, сбившиеся в свою особую кучку, белевшую в стороне платочками, торопливо зачастили перед собой щепотками.

— Нынче утром, стало быть, напали на нас... В четыре часа... Чего остерегалнсь, то и случилось... Так что такое вот известие.

Сумрачно тиская зубы, Прошка отвернулся, уставился куда-то прочь, в поле, плескавшееся блеклым незрелым колосом невдалеке за конторой. И было томительно это его отсутствующее глядение. Медленно багровея от какого-то распиравшего его внутреннего давления, он сокрушенно потряс головой:

— На ж тебе: ты только за пирог, а черт на порог. Тьфу!

Председатель ожесточенно сплюнул и заходил взад-вперед по крыльцу от столба к столбу,

как пойманый, будто запертый в клетку. Вдруг резко крутнувшись на железных подковках, внезапно закруглил собрание:

— А теперь... тово... давайте, кто на бураки, кто на сено. В общем, пока все по местам.

Люди, однако, не расходились, понурились в скованном молчании, ожидая еще чего-то. Но Прошка, сбежав с крыльца и расчищая себе дорогу сквозь неохотно подававшуюся на две стороны толпу, досадливо покрикивал:

— Все! Все! Расходись давай. Пока больше ничего не имею добавить...

Он отвязал вожжи от коновязного бруса, окорячил дрожки, умягченные плоским, слежалым мешком с соломой, и, полоснув лошадь концами, крикнул уже сквозь колесный клекот:

— Будут спрашивать — в районе я. В район поехал!

4

И второй, и третий день деревня жила под тягостным спудом неизвестности. Все как-то враз смялось и расстроилось, вышло из привычной колеи. Иван Дронов попытался было наладить прерванный сенокос, самолично объехал подворья, но в луга почти никто не вышел, и сено так и осталось там недокошенным, недокопненным. Ждали, что вот-вот должны понести повестки, какое уж там сено!

Повестки, и верно, объявились уже на второй день. Правда, брали пока одних только молодых, первых пять-шесть призывных годов, в основном из тех, кто недавно отслужил действительную. Но кто знает, как оно пойдет дальше, какой примет оборот?

Прошка-председатель ходил сумной, неразговорчивый, и больше норовил завеяться с глаз долой. Сказывали, будто видели его нечаянно на дальнем Ключевском яру, на краю хлебного поля, и будто бы, пустив на волю коня с таратайкой, сидел он там, на юру, один, как во хмелю, обхватив коленки и уронив на них раскрытую голову. Не узнали б его, эдак скрюченного, закрывшегося от всего, посчитали бы за чужого человека, если бы не конь: конь-то его приметный — чалый, с белой гривой и белым хвостом.

Поутру мужики, а больше бабы подворачивали к правлению под разными предлогами, толпились у крыльца, засматривали в окна на счетоводку Дуську, сидевшую у телефона: не будет ли каких известий, от которых зависел весь дальнейший ход усвятской жизни.

Радио на ту пору в деревне не имелось. Правда, уже по теплу перед маем начали было расставлять столбы, накопали по улицам ямок, но районные монтеры что-то закапризничали, в чем-то не сошлись с Прошкой и больше не появились в Усвятах. Теперь в самый раз сгодилось бы послушать, ни за какой ценой не постояли б, да кто ж знал, что так оно обернется, думалось ли кому о войне?

Газетки же пока еще шли довоенные, из них ничего не явствовало: вчера доставила почтальонка, а там все еще пишут про всякое такое разное, и на картинках все такие довольные, ровно ничего и не случилось. Оно и понять можно: пока составят заметки, пока прокрутят через печатную машину да развезут по городам, а оттуда — по районам, из районов — по сельсоветам, а там уж и по самим деревням, это ж сколь раз из рук в руки передать надо, сколь потратится времени. Районка, та и вовсе один листок и не каждый день в неделю.

Вот и отирались у конторского порога с немым вопросом на сумеречных лицах, вострились слухом, не зазвонит ли телефон, и не скажет ли трубка чего нового, пока внезапно наехавший Прошка-председатель не принялся шуметь:

— Кова черта, понимаешь! Ну война, война... Дак что теперь делать? Сидмя сидеть? Пелагея! Авдонька! Бураки вон сурепкой затянуло, а вы тут жени мнете. Кому сказано! А ну марш все отседова, чтоб глаза мои не видели!

— Да нть как робить, ничего не знаючи. Руки отпадают. У тебя там, Прохор Ваныч, телефон в кабинете. Можа, чего слыхать...

— А чего слыхать? Ничего не слыхать. Отражают пока, отбиваются.

— Ты бы спросил в трубку-то. Живем, как в мешке завязаны.

— Об чем, об чем спрашивать-то?

— Да какая она будет, война,— большая аль маленькая. Будут ли еще мужиков забирать, ай нет? Нам бы хочь об этом узнать. А то думки изгложут.

— Ничего этого я не ведаю — большая или маленькая. Нету у меня такого аршину. А какая она б ни была, нечего сидеть. Вон солнце уже где, в колодезь скоро заглянет, а вы досе тут, понимаешь. Вот счас перепишу всех, потом не обижайтеся: «Нехорош Прохор Ваныч». Совсем разболтались, понимаешь.

Касьян, возвращаясь с ночного дежурства, тоже захаживал в контору послушать, чего говорят. Не было хуже этой вот неопределенности. Куда б легче, кабы знать наверняка: так или этак, возьмут или не возьмут. Но никто этого наперед сказать не мог, и он, придя домой, не находил себе места, а уж о деле каком и вовсе в голову не шло. Вот и погреб надо бы почистить, подкрепить на зиму, да все как-то не мог обороть себя. Если днями возьмут, то и затеваться с погребом нечего: только зря растревожишь, разворошишь старье, оно — тронь, дак и в две недели не уберешься. Было с ним такое, будто подвесили его поперек живота, и никак не дотянуться до дела руками или ногами стать. Бесцельно бродил он по двору, в городчике среди гряд, все тянулся кудато слухом, и тесно ему стало подворье, давило

плетневой городьбой, так бы взял и разгородил напрочь, напустил воздуху. А то сядет у окна, и будто нет его, просидит безгласно до самых поздних сумерек. И Натаха старалась не докучать ему, ни в чем не перечить. Висела в амбаре сумочка с нарубленным самосадом, полез давеча, а там одна нюхательная пыль. И сам удивился, когда успел пожечь, выпустить дымом этакую прорву табачища.

Тем же днем, уже под вечер, посланный малец передал Касьяну, будто велено явиться в контору, не мешкая, по важному делу. Не успел и расспросить, какое дело, как парнишка тут же улепетнул, засверкал пятками. Касьян, встревожась, не стал дохлебывать поданные Натахой щи, а, утершись ладонью, цапнул с гвоздя картуз.

— Доешь, успеется,— сказала Натаха, сама насторожась. — Поди, не тебя одного кличут.

Но Касьян, уже не слыша жены, взятый тревогой, вышагнул в сени.

Возле конторы, как и в тот первый колокольный день, уже кишел, крутился народ — мужиков с полста, не считая баб и налетевшей мошкары-пацанов, которые по случаю пустого летнего времени в школе лезли во всякую затею: где чего стряслось, там и они, пострелы. Валяются поодаль в траве, барахтаются, устраивают друг дружке всякие подвохи — то кому травинкой за ухом пощекочут, то прилепят сзади на штаны репей с куриным перышком. Но промеж этим исподволь послеживают за старшими, за окнами и крыльцом правления: ждут, чего будет. Баловство баловством, а и мальцов за показной шкодой берет тайная сумять: война!

Касьян и сам, пряча тревогу, молча присел в тени возле прохладного кирпичного фундамента, где уже рядком устроились пришлые мужики.

Вскоре туда же присеменил, постукивая батожком, и дедушко Селиван.

Жил он бобылем в старенькой своей избе с давно осыпавшейся трубой; после смерти старухи не держал во дворе никакой живности, кроме воробьев да касаток, и даже не засевал огорода, дозволив расти на грядках чему вздумается. Кормился же он возле сторонних людей, и ни у кого не поворачивался язык отказать ему в стариковской малости, тем паче, что сам он никогда не попросится к столу: дадут чего похлебать — отблагодарствует, забудут — так посидит в сторонке, покурит, водицы попьет. Пуще же хлеба держался он людским словом, а потому редко когда обитал в своем дому, особенно в летнюю пору, а все больше там, где была доступна живая душа,— на конюшне, с ночными сторожами, с эмтэесовскими трактористами на полевом стану.

Навалясь грудью на батожок, поддерживая себя так, дедушко Селиван остановился перед густо дымящим миром, обежав мужиков упрятанными под куделистые брови, но все еще живыми востренькими глазками.

— Што за сход? Вижу, все бегут, а пошто — никто ничево.

— Да вот таратайка стоит, кого-сь из району доставили.

— Ох ты, мать твоя с яйцом курица! По какой надобности-то?

— Известно по какой. Надобность теперь одна...

— Бают, кабудто в рай будут зачислять. У кого руки-ноги при себе, глаз не кривой, того прямки под самые кущи... Яблоки кушать, гранаты.

Дедушко Селиван засмеялся, закивал бородкой:

— Пригожее место! Я б и сам с вами напросился, да зубов вовсе не стало — по яблоки-то.

— Там вставят...

— Нуте, нуте... То-то, гляжу, оробели, лишку курите. Дак, может, и не по той причине. Гостюшка-то штатский али в мундире? Кто видал?

— Кажись, в белом пинжаке.

— Ага, ага... Сорока-белобока... Нуте, нуте... Потрескочет, побалаболит чего ни то, да и восвояси. Не артист ли, как тот раз?

— Да кто ж его знает... Об эту пору с гармошкой не пошлют, с куплетами. Небось, скоро нам свою затягивать...

Приезжий человек все не объявлялся, затворился в конторе вдвоем с Прошкой-председателем. Может, они там и о пустом говорят, время тянут, а тут сиди, гадай. Никто толком не мог сказать, с чем гость пожаловал, и мужики хотя и пошучивали, но сидели, как на угольях.

Наконец, в конторе послышалось какое-то шевеление, пискнула кабинетная дверь, и на крыльце объявился Прошка-председатель в своей низко насунутой восьмиклинке, в куропатчатом расхожем пиджаке с обвислыми карманами, в которых он, запустив по обычаю своему руки, перебирал, позвякивал ключами и всякими подобранными на дороге винтиками-болтиками, перемешанными с овсом, викой и прочими семенами, скопившимися еще от посевной кампании.

Следом, держа под мышкой долгую бумажную трубу, оживленно вышел приезжий человек с простовато-округлым лицом, в широкой чесучовой толстовке.

— Товарищи! — объявил Прошка-председатель. — Давайте подходите поближе.

Усвятцы, переминаясь и оглядываясь, мало-помалу подтянулись, поубавилась галдеца. Усаживались прямо на мураву перед конторой, туда же вынесли два стула и стол под красным полотнищем, придавив его графином.

— Покучней, покучней, понимаешь, — подбадривал Прошка.

Кое-кто посунулся еще маленько к столу.

Приезжий приветливо поздоровался с крыльца, покивал очками на три стороны, будто хотел раздать всем по кивку. Артельщики оживились, с интересом посматривая на бумажную трубу — что в ней такое.

— Значит, так... — Прошка-председатель, обхватив обеими руками крылечное перильце, качнулся туда-сюда некрупным подростковым телом, как бы испробуя прочность загородки. — Тут, значит, такое дело... Многие интересовались насчет немца. Ну дак вот... Я договорился с районом, чтоб нам выделили знающего товарища, — он метнул козырьком кепки в сторону стоявшего рядом приезжего. — Просьбу нашу, как видите, удовлетворили. Чтоб, значит, не пользовались посторонними слухами. А то есть у нас, понимаешь, отдельные любители базарного радива: «ши-ши-ши» да «ши-ши-ши»... А чего в этом «ши-ши-ши» правда, чего брехня — не всяк способен разобраться.

Сидящие задвигались, запереглядывались, раздались несмелые голоса:

— Да чего уж... Всяко болтают.

— Пущают слушки!

— Да вот вам последний факт. Насчет хлеба. Кто это распустил, будто зерно по дворам собирать будут? Дескать, хлебом собираемся откупиться от немца?

Прошка-председатель обвел упористым взглядом первые ряды, потом пошарился по остальному люду.

— За такие штучки, понимаешь... — Он запихнул руки в карманы, сердито побренчал ключами, но тут же выхватил, свернул фигу и сунул ею на закат солнца. — А во ему хлеба, поняли? На-кось вон, пусть понюхает. Крендель с ногтем!

Приезжий человек сдержанно покашлял.

— Насчет овса, это верно, есть такая разнарядка, получена. Чтоб подготовить излишки в фонд мобилизации. Овсом, конечно, мы поделимся. Дак опять не с немцем же! Потому как наша армия состоит не из одних токмо бойцов и командиров, а и кони при ей есть. Пушки, обозы, кухни — все это коня требует. А конь — овса. Понимать надо...

Он сделал заминку, потер скулу, пошуршал щетиной.

— Ну, это я к тому, что не знаешь — не болтай. А то хлеб, хлеб! А короче говоря, давайте послушаем, что нам скажет сведущий человек, вот он, товарищ Чибисов Иван Иванович. Чтоб потом некоторые не отирались без толку возле правления. Теперь каждая минута дорога. Эй, пацанва! Потише там! Разбаловались, понимаешь. Цыц мне! Чтоб ни гугу. А то живо ухи отвертаю.

На поляне попритихли: никогда еще усвятцы не видели своего председателя таким осерженным, в таком недобром расположении.

Прошка-председатель с приезжим Иваном Ивановичем спустились к столу. Та бумажная труба оказалась всего-навсего печатной картой, раскрашенной веселыми разноцветными красками. Пока Иван Иванович пришпиливал ее кнопками к стене меж конторскими окнами, Прошка достал складничек, отхватил им от саженца боковую ветку, сноровисто обчистил добела и подал лектору, после чего занял место за столом, готовясь тоже послушать вместе со всеми.

Иван Иванович, не мешкая, принялся объяснять, какова из себя Германия, кто таков этот расфашист и разбойник Гитлер, почему ему неймется мирно обходиться с другими государствами, сколь народов уже повоевал и обездолил перед тем, как напасть на Россию. Говорил он неспешно и обстоятельно, помогая себе хворостинкой, и всем стало сразу ясно, что человек он и на самом деле сведущий. Мужики, покуривая, следили, как проворно бегала по карте выструганная палочка, как втыкалась она в разно окрашенные места, означавшие страны, которые хотя и ненадолго задерживались в памяти из-за их непривычных, мудреных названий — Великобритания, Норвегия, Голландия, Люксембург и еще много других и прочих, — все ж слушать ровно бегущую речь было хотя и тревожно, но интересно. Из задних рядов, правда, не очень-то уследживалось, кто там и где находится, — дюже уж теснились, изловчались и наседали друг на дружку оные царства и государства. Скопившиеся под дальними саженцами пацаны подхватили забавное для них слово — Европа и, хихикая, сразу же приспособили к нему свой к ладу, к созвучности добавок, за что восседавший за кумачом Прошка-председатель тут же отчитал остряков:

— А ну-ка, грамотеи! На срамное вы всегда мастера. Лучше б вникали, чего вам говорят умные люди. Только хихи да гаги в голове.

И лишь одно название было всем дорого и понятно, как, скажем, мать или хлеб, — Россия. Против тех государств, как бы разнопосевных кулижек, витиевато обведенных на карте межами и частокольем, лежала она, будто большое, раздольное поле, да и то, оказывается, не вся поместилась на карте, смогла войти в нее лишь малой своей частью, тогда как на остальное не хватило бумаги... И голубые жилы рек, которые указал и назвал Иван Иванович, петляли по России, не обрываясь, не подныривая под пограничные прясла, а текли себе привольно от самого начала до своего исхода — к синим морям. И было всем странно и непонятно, как это Германия осмелилась напасть на такую обширную землю.

Сидевший рядом с Касьяном Давыдко глядел-глядел, таращась, на единую российскую покраску, на общий ее засев и не утерпел, перебил вопросом лектора:

— Ужли наше все это? Дак которая тади из них Германия-то?

Иван Иванович приостановил хворостинку, выслушал Давыдку и тем же ровным голосом дообъяснил непонятное:

— Я вам, товарищи, уже показывал. Вот эта коричнево окрашенная территория и есть Германия.

— Только и всего? Это которая на морду похожа?

— Ну, если хотите, — сдержанно улыбнулся Иван Иванович, — то сходство с физиономией, с профилем действительно имеется. Это вы весьма удачно заметили. В самом деле, вот эта часть, — Иван Иванович показал на карте хворостинкой, — которая вытянулась на восток вдоль Балтийского моря вплоть до польского города Гдыня, очень похожа на обращенный в нашу сторону и как бы принюхивающийся нос. И даже капля висит на этом носу — так называемая Восточная Пруссия — часть земли, некогда отвоеванная у приморских славян. А там, где нам воображается глаз, — вот видите этот кружок? — это и есть германская столица Берлин.

— А и верно — глаз! — удивились бабы. — Дак а чего-то у него, немца-то, изо рта торчит, цигарка, что ли? Эку длину в рот забрал!

— Нет, товарищи, это не цигарка, — опять улыбнулся Иван Иванович. — Это государство Чехословакия, которую Германия аннексировала, или, как вполне точно кто-то из вас выразился, — забрала в рот, — еще в тысяча девятьсот тридцать восьмом году.

— Понятно теперича... Вот оно что!

Далее, однако, выяснилось, что карта эта уже устарела и что нос у немца вытянулся еще дальше, уперся в самую Россию, а теперь вот Германия и вовсе на нас напала — бомбит города, во многих местах вклинилась на нашу землю, и что есть уже убитые и раненые...

Народ на полянке поумолк, а какая-то бабенка в задних рядах при упоминании об убитых сдавленно завыла и, закрывшись руками, ткнулась белым платком под саженец в отросшую траву. На нее зацыкали соседки, принялись тормошить с укором, Прошка же, постучав ключом по графину, возвысил голос:

— Марья! Не мешай слушать! Сразу и в рев...

Баба малость поубавила тону, но выть не перестала.

— Как фамилия этой колхозницы? — склонился к председателю Иван Иванович, который, насунув на глаза козырек кепки, с нетерпеливым недовольством глядел в ту сторону, под саженец.

— Кулиничева, — подсказал председатель. — Мария Федосеевна. Ладно, ладно тебе. Марья. Нечего загодя голосить-то. Не муторь мне людей.

— Марья Федосеевна! — попробовал окликнуть ее и Иван Иванович. — Товарищ Кулиничева!

Он смущенно поглядел в толпу поверх очков.

— Послушайте, голубушка. Ну что же вы так сразу. Слезы в таких вещах плохой помощник. Кому от них польза? Одному врагу, одному ему на руку наша растерянность. Наоборот, надо проявлять твердость духа, а не поддаваться паническим настроениям.

Щуплая, плосконькая бабенка, еще пуще вжимаясь в землю, вовсе потерялась в траве, и было только видно, как заметный уголок белой косынки судорожно дергался в кустиках лебеды.

— Право же, никаких оснований для слез нет, — пытался утешить Иван Иванович. — Ведь все эти временные успехи достигнуты неприятелем за счет внезапности нападения. Представьте себе: вы ничего не знаете, а на вас набросились из-за угла. В таком случае даже сильный может оказаться на первых порах в невыгодном положении и понести некоторый урон и ущерб. Вот сидящим здесь мужчинам такая ситуация должна быть знакома из личного опыта, — попробовал шуткой смягчить непредвиденную заминку Иван Иванович. — С каждым, наверно, бывало такое, если припомнить, не правда ли?

Мужики оживленно заерзали, загалдели:

— Ну дак ясное дело! Бывало, бывало такое...

— Вот видите? А вы, Марья Федосеевна, сразу и в слезы...

— Да, понимаешь, сын у нее служит в тех местах, — перебил его Прошка-председатель. — И жену с дитем как раз по весне забрал туда... Марья! Где это у тебя Гришка-то? В каком городе?

Что ответила бабенка, не было слыхать, но люди через ряды донесли ее ответ, и Давыдко объявил:

— В каком-то Перемышле он.

— Ах, вон оно что... — покивал очками Иван Иванович. — Понятно, понятно...

— Встань, Марья! — опять потребовал Прошка-председатель. — Кому говорю.

Марья вяло выпрямилась, утерлась углом косынки и смиренно сложила руки в подол.

— Мы несколько отвлеклись от нашей беседы, — опять ровно заговорил Иван Иванович, — так что продолжим... Как я уже сказал, для особых тревог у нас с вами нет оснований. Бои ведут пока одни только пограничники. Главные наши силы еще не подошли, не

участвуют в сражении. На это нужно время, надо немного подождать.

Он вернулся к карте и, оглядывая ее, простирая к ней хворостинку, рассказал о том, что скоро, очень скоро враг на себе испытает всю мощь ответного наступления, что на его наглую вылазку наша армия ответит тройным сокрушительным ударом и что не за горами то время, когда немецкие войска будут с позором обращены в бегство и наголову разбиты на их же собственной территории.

Мужики одобрительно запереглядывались, и лектор, оставив карту и подойдя к столу, обратился непосредственно к ним:

— Дорогие друзья! Есть еще одно немаловажное обстоятельство, не учтенное германскими горе-стратегами. Чем больше они раздувают свою военную машину, тем ненадежней она, тем опасней для них самих. Вы спросите, как так? Да потому, что их армия в большинстве своем состоит из обманутых рабочих и крестьян, которые никак не заинтересованы воевать против нас, своих же братьев. Их гонят в наступление насильно, из-под палки. Отсюда какой можем мы с вами сделать неоспоримый вывод? А тот, что подневольная армия при первом же серьезном отпоре неизбежно развалится, и немецкие солдаты, такие же, как и мы с вами, простые труженики, повернут штыки против своих хозяев...

Иван Иванович покопался за отворотом чесучовой толстовки, достал какой-то листок и продолжал:

— А что касается, товарищи, нашей армии, то не буду утруждать вас всевозможными цифрами, да это, сами понимаете, и не положено в военное время, а зачитаю вам лишь некоторые установки, которые даны войскам. Надеюсь, вы сами сделаете из них надлежащие выводы и подведете черту нашей беседы. А написано тут следующее.

Первое: если враг навяжет нам войну, наша армия будет самой нападающей из всех когда-либо нападавших армий.

Второе: войну мы будем вести наступательно, перенеся ее на территорию противника.

И третье: боевые действия будут вестись на уничтожение, с целью полного разгрома противника и достижения решительной победы малой кровью.

Иван Иванович аккуратно свернул бумажку и опять спрятал ее в карман.

— Возможно, у кого есть вопросы? — поинтересовался он, вытирая платочком запотевшие очки. — Есть вопросы, товарищи?

Из задних рядов кто-то выкрикнул:

— А верно ли бают, кабудто немец одной колбасой питается?

— То есть как одной колбасой? — перестал протирать очки Иван Иванович.

— Говорят, вроде у нево хлеба своего нетути. Одни заводы, а сеять негде. Это ж он нашего хлебца маленько припас, когда договор с нами был, а так — нету.

— А откуда ж у него колбаса, ежли земли нет? — спросил Прошка-председатель, навострив язвительный взгляд в дальнюю кучу мужиков. — Колбасу без земли тоже не сделаешь. Голова!

— Дак, может, она у них такая... неправдашняя, — выкрикнул тот же голос. — Токмо чесноку, шпику добавляют для запаху.

— А ты ее нюхал? — засмеялся кто-то в толпе.

— Я-то, конечно, не нюхал. Где ж мне ее нюхать-то? Я и своей не дюже-то пробовал.

— Не морочь голову, Лобов, — обрезал Прошка-председатель. — Если спрашивать, то по делу. Вечно у тебя в мозгах яишница какая-то, понимаешь.

— У кого еще есть вопросы? — повторил Иван Иванович.

— У меня есть! — объявил Давыдко. — Дак а сколь у ево народу, если он так-то всех бьет и бьет?

— Если считать самих немцев, — сказал Иван Иванович, — то приблизительно шестьдесят миллионов.

— А у нас сколь?

— Сто восемьдесят пять. Как говорится, по три наших шапки на каждого немца.

— Тади ясно.

— Нет больше вопросов?

— Нема! — отозвались мужики. — Теперь все ясно.

Приезд Ивана Ивановича принес облегчение, снял томивший груз неведения, и мужики, расходясь, повеселели и даже выпили в тот вечер кружком, за конторой.

Бывает так по осени: внезапно жахнет мороз, захватит врасплох все живое, обникнут опаленные холодом разохотившиеся было и дальше расти побеги, убьет на грядах ботву, загонит в норы и под коряги всякую живность, а потом вдруг вновь нежданно растеплится, выстоятся деньки, и опять все, забыв недавние страхи и невзгоды, закопошится, запрыгает и возрадуется благодати.

— А и башковитый мужик! — похвалил Ивана Ивановича дедушко Селиван, когда после лекции расположились своей кучкой в укромных бурьянах. — Теперича все ясно. А то сидим тут — опенки опенками. Соль всю в сельпе подчистили, карасин-спички. Ситчик завалящий и тот похватали бессчетными аршинами. Иншие дак и хлеб стали припрятывать.

Вчерашние повестки разворошили было деревню, забегали, запричитали бабы. Но, оказалось, потрусили не густо, одного-двух на десяток дворов, в Касьяновом конце и вовсе никого не тронули. Да и взяли в основном молодых.

Остальных, кто постарше, главную усвятскую силу и опору, пока не задели, и после лекции появилась надежда, что могут и не задеть вовсе, тем паче, что против одного немца приходилось по три человека с нашей стороны. Зачем столь брать, обременять государство излишним расходом, наделять всех обужей-одежей да и хлеб зазря переводить?

— Ну, ребятки! — просветленно поднял и свою чарочку дедушко Селиван. — Бог не выдаст — свинья не съест. Авось обойдется. А возьмут кого, дак ежли, как было сказано-то, есть такое предписание, чтоб на его земле бить-ся, тади вам и делать буде нечего. Это же пока пройдете докторское обсвидетельство, пока распишут по частям — кого в пяхоту, кого в кавалерию, кого в санитары — о-ей, сколь время убежит! Дело это нешвыдкое — разобраться с кажным, кто на какую службу гож. Да пока довезут до места, колтыхать-то не ближний свет, эвон какова Россия по карте-то, да там примутся обучать строю, оружию, — глядишь, тем временем и попрут его без вас да и замирятся вскоре. Это как в финскую. Тади тоже так вот: война, война... А воевать-то многим и не довелося. Так только — пожили в лагерях, песен строем попели, похлебали казенного варева, да и по домам восвояси.

Подвыпивший Касьян слушал все это и чувствовал, как оттаивала душа и онемевшие было руки сами собой испрашивали какого-нибудь дела. Да хоть бы и опять в луга да покоситься всласть, без спешки, маеты и оглядки.

— Попрут, попрут его, голубчика! — продолжал возгораться дедушко Селиван. — Помяните мое слово, попрут. Немец, он только с наружности страховитый. Нацепляет на себя всяких железяк, блях, баклажек да ремней, а разглядеть его, дак хли-и-пкай. Штыка, к примеру, никак не выдерживает, сабли — дак за версту одного свёрку боится. Истинное слово! Бывали мы его, горохова пардуна, знато дело. Это ж, ежли порассказывать, как в ту войну, в четырнадцатую. Бывалача, как высыпем из окопов, как вдарим в штыки да как шумнем «ура!» — потыркает, потыркает по нам, видит — неймет, густо нас дюже, да и деру бежать. Так что попрут, попрут его, и не сомневайтеся в этом.

Но утешение было недолгим и хмельным, как и сама водка, по которую еще раз да другой гонял в тот тихий, полынком обвевающий вечер легкий на такое поручение Давыдко, благо, что и сами жаждали этой неправды: может, и верно, все обойдется малой кровью да на ихней же, немецкой земле. А если и отлучаться из дому, то всей и потраты, что строем попоют песни в лагерях да постербают бесплатного кулешу.

Но уже через несколько дней на деревню, как тяжелые наволочные тучи, наползли слухи, будто немец прет великим числом, позахватил множество городов, полонил и разогнал по лесам и болотам целые наши армии, которые-де побросали на дорогах пушки и обозы со всеми припасами, а которые пробуют обороняться, тех немец палит огнем и давит бессчетными танками. Что тут было правдой, а что вымыслом, понять было трудно и спросить не у кого. В газетах по-прежнему ничего толком нельзя было вычитать: энская часть да энское направление — вот тебе и весь сказ.

Слухи о том, что немец идет беспрепятственно, рушит все и лютует, ходили все упорнее, и будто бы уже повоевал Белоруссию и сколько-то еще земли по-за нею. Вскоре о том помянули и в газетах, дескать, после упорных боев наши войска оставили Минск. Это означало, что немец за шесть дней наступления углубился не меньше как на пятьсот верст, продвигаясь более чем по восемьдесят километров в сутки. Выходило, что мрачные слухи в общем-то были верны, и мужики, словно после тяжелого похмелья, хмуро молчали и не глядели друг на друга: какая уж там малая кровь! Кровь великая, и лилась она по своей же земле.

Виновато помалкивал и дедушко Селиван, который никак не мог взять в толк, отчего так все получилось нескладно и несуразно.

5

Одно только дело, как и прежде, в мирное время, Касьян исполнял без запинки — гонял колхозных лошадей в ночное к остомельским омутам. Гонял через день, чередуясь со своим напарником Лобовым.

Ночи стояли светлые, в благодатной теплыни. Отпустив стреноженного коня под седлом, он бросал на берег старый бараний кожух, ложился ничком головой к реке и постепенно отходил душой.

Внизу, в густой тени, под глиняной кручей, вкрадчиво бормотали сонные струи, неся с собой парные запахи кубышек, которые, разомлев еще в дневной духоте, только теперь начинали пахнуть особенно остро и опьяняюще. К этим запахам примешивалось дыхание заречных покосов, томный аромат калины, а иногда вдруг в безветрии, поборов все остальное, обнажалась нежная горечь перегретых осин, долетавшая в луга из далекого и незримого леса.

Опершись подбородком на скрещенные руки, Касьян бездумно прислушивался, как невидимый зверушка шебуршил под обрывом, должно быть, чистил свою нору, роняя сухие комья, дробью стучавшие по воде. А на самой середине реки, на лунно осиянном плесе, все вскидывалась на одном и том же месте какая-то рыба, пуская вниз по течению один за другим кольчатые блинцы. В заречье, в сырых, дымно-серебристых от росы лозняках, неумолчно били

перепела — краснобровые петушки словно нахлестывали друг друга тонкими прутиками — фьюить! фьюить! — и выстеганный ими воздух, казалось, потому был так чист и прозрачен.

Вкруг Касьяна в кисейной лунной голубизне маячили лошади, мирно хрумкали волглой травой. Даже теперь, в ночи, Касьян различал многих из них, и не по одной только масти.

Вон сосредоточенно, ни на что не отвлекаясь, подбирала все подряд, будто жала, словно все время помнила, что летняя ночь коротка, а день в хомуте долог, мослатая работяга Варя. Неподалеку от матери резвился Варин двухмесячный малышок со смешным кучерявым хвостиком, который он то и дело поднимал и держал на отлете, как бы вопрошая мать: а что это? а это что? Жеребенок то пробовал щипать траву, неумело тянулся короткой шеей к земле, то, узрев темный кустик татарника, таинственный в своей неподвижности, цепенел перед ним, боязливо тянулся ноздрями и вдруг, неумело взбрыкнув, отлетал прочь. Но, увидев мать, тут же забывал свои минутные страхи и вот уже, полный ликующей радости бытия и потребности куда-то мчаться, пускался отбивать копытцами — та-та, та-та, та-та, — в лихом наклоне узкого и плоского тельца вынашиваясь вокруг Вари.

А там, часто переходя, шумно отфыркиваясь, выбирала, обнюхивала каждую куртинку привередливая Пчелка — молодая, красивых донских обводов кобыла в белых чулках на передних ногах. На ней уже ездили, но она пребывала в той переходной легкомысленной поре, когда еще не научилась терпеть упряжь как должное, и всякий раз при виде подносимого хомута западала ушами и норовила куснуть ненавистную штуковину. Но в лугах все эти удила и подпруги тотчас забывались, и она предавалась свободе и беспечности, как школьница, забросившая докучливую учебную сумку.

Там вон сошлись, чешут зубами друг другу холки неразлучные подруги Вега и Ласточка, чалые простушки, которых Касьян и в работе старался не разлучать и запрягал только в пароконку. В дышле и бежали, и тянули они ревностно, всегда поровну, честно деля и дальнюю дорогу, и нелегкий воз, и Касьян уважал их за эту добросовестную надежность.

Поодаль, подойдя к самому обрыву, недвижно стоял старый Кречет. Когда-то был он в нарядных серых яблоках, особенно по широкой груди и округлым стегнам, постепенно переходивших книзу, к ногам, в посеребренную чернь. Но со временем яблоки вылиняли, а потом и совсем пропали, и Кречет сделался просто сивым, покрылся морозным инеем, а под глубоко провалившимися салазками отросла белая стариковская борода. Конь, ослабив заднюю ногу и обвиснув репицей, в раздумье смотрел в заречье, а может, уже и никуда не глядел и ни о чем не думал, как полусухой чернобыл перед долгой зимой...

Он еще продолжал помаленьку работать, таскать свою сорокаведерную бочку на скотный двор, но и это, казалось, необременительное дело все больше утомляло его, и он тут же задремывал, как только останавливались колеса и возчик бросал на его зазубренный хребет веревочные вожжи.

Касьян, глядя на одряхлевшую лошадь, всякий раз вспоминал своего старика отца, как тот однажды, еще до колхоза, поохотившись поехать в поле, не смог сам влезть в телегу, заплакал и не поехал. «Все, Кося, отъездился я...» — проговорил он в неутешном сокрушении. Касьян попробовал было посадить старика, взял его под сухонькие закрылки — так хотелось Касьяну, чтобы и отец ну пусть не помог, а хотя бы побывал в поле на первый день жнитвы, порадовался бы дороге, воле, молодому хлебу. Но отец, отстранив Касьяна, замотал лунь-головой: «Нет, сынок, так я не хочу. Коли не работник, то и нечево...»

Недолго небось и Кречету осталось до того дня, когда он тоже не сдвинет своей бочки...

Уже в который раз Прошка-председатель, наткнувшись на Кречета, гудел, что, мол, попусту держат ненужную худобу, травят на нее корма. Но у Касьяна рука не поднималась выдворить старика за конюшню, и он упрямо, не зная и сам для чего, поддерживал в нем остывающую жизнь и даже исподтишка подкармливал чем помягче: то овсеца вымочит в ведре, то зачерпнет сечки в коровнике.

Когда перед ночным отвязывали и выпускали лошадей и те, нетерпеливо теснясь, выбегали за конюшенные ворота, Кречет, уже зная, куда их и зачем выгоняют, тоскливо посматривал из-за своей загородки на светлый квадрат распахнутой зари и даже пытался напомнить о себе ржаньем. Но голоса у него уже не было, и он лишь немо и тяжко выдыхал неозвученный воздух. Касьян под конец выпустил и его, и Кречет, выйдя за порог, глубоко и шумно вздохнул. А потом, выфукивая пыль из-под разлатых, уже не ковавшихся копыт, тяжело неся свой громоздкий остов, труснл позади табуна, стараясь не отставать, как тогда дедушко Селиван...

«Кабы б все только с пользой, дак много на этом свете найдется бесполезного, — размышлял Касьян, глядя на серую глыбу лошади на берегу. — Не одной пользой живет человек».

Иногда к Касьяну подходила бродливая Пчелка. Лоснясь лунными бликами, вся трепетно настороженная, готовая во всякую минуту отпрянуть, взвиться и отскочить с игривым испугом, она принималась обнюхивать Касьянов узелок с едой, черный закопченный котелок, оброненный в траву ременный кнут, потом подбиралась и к самому Касьяну, тыкалась мордой в кожух, брезгливо сфыркивая от запаха овчины,

тянулась мягкими губами к его старенькой кепке, пропахшей конюшней, овсом и сеном. Касьян не отпугивал кобылу, недвижно лежал, полнясь сладким удовольствием от этого осторожного прикосновения лошади, накрывшей его своей тенью и веющей терпким и таким близким и успокаивающим духом здоровой конской плоти.

— Ну, будет, будет... — наконец повернулся он к Пчелке, когда та задышала в самое ухо и даже ослюнявила его. — Ступай, пощипи. А то пробегаешь так-то... Вон, глянь-ка, Варя молодчина какая.

Он говорил совсем по-мирному, будто позабыл, что идет война.

После деревенской колготы, бабьего рева и томительного ожидания чего-то здесь, в лугах, стало Касьяну особенно отрадно, тут можно было хотя бы на время отдаться тому неведению беды, в коем пребывали и эта ночная отдыхающая земля, и вода, и кони, и все, что таилось, жило и радовалось жизни в этой чуткой голубой полутьме, — всякий сверчок, птаха или зверушка, ныне никому не нужные, бесполезные твари.

Деревня кое-где еще светилась, и, когда Касьян оборачивался в ту сторону, лишь они, эти тусклые керосиновые огоньки, затаенно припавшие к земле у самого горизонта, напоминали об иной, неизбывной реальности, куда он должен был возвращаться на рассвете.

Ему казалось, что все там охвачено каким-то тяжким повальным недугом. Это поветрие, принесенное в деревню, уже проникло и расползлось по людским душам, будь то мужик или баба, старик или малое дитя. У всех без разбора оно отложило свое семя, и с ним теперь каждый просыпался, принимался что-то делать, ел или пил, шел куда-то или ехал и, отбыв сумятный день, опять забывался во сне, не избавлявшем от смуты и ожидания неизвестного.

Война...

Отныне все были ее подушными должниками, начиная с колхозного головы и кончая несмышленым мальчонкой.

Являлся ли в контору Прошка-председатель, день его занимался не с привычных заведенных обычаев, когда он, едва только взбегая на крыльцо, уже начинал шарить по карманам, отыскивая ключ от своего нового кабинета, и все находившиеся в конторе слышали, как сперва решительно клацал замок, потом сразу же начинало гулко трыкать где-то под потолком, означая, что Прошка подставил стул и самолично заводит настенные часы, а уж потом доносилось бодрое «Потапыч», когда был он в добром расположении, или нетерпеливое и требовательное «Петр-р-раков!», что на конторском языке в обоих случаях понималось: «Бухгалтера ко мне». Теперь же Прошка-председатель входил в контору без прежнего оживленного топота, будто прокрадывался, — сумной, проткнутый какой-то больной думой, с белым пятном извести на спине замятого пиджака: где-то шоркнулся в беготне о стену да так и не оттер. И после того как отпирал дверь, из его кабинета больше не слышалось ни рыка заводных часов, ни клича бухгалтера, а наступала мертвенная тишина, которая иногда затягивалась надолго, и никто не знал, что он делал в эти немые минуты: то ли недвижно замирал у окна, то ли забывался, сидя за своим неотомкнутым столом. И только он один знал, что день его теперь начинался с опасливого погляда на телефон, поскольку на другом конце провода ежечасно, ежеминутно его караулила война. В любое мгновенье она могла ознобить властным звонком, бесцеремонным распоряжением, как уже было, когда позвонили и потребовали срочно отгрузить все наличие овса в фонд мобилизации, или оглушить в трубку худой вестью, от которой и вовсе опускались руки.

Отправлялась ли баба в сельпо, она теперь не по-будничному шла туда, лузгая семечки, чтобы, поболтав у прилавка, купить кулек лампасеток или кренделей, а уже издали зыркала, приглядываясь к лавке: не подвезли ли, подай бог, еще партию соли, которая вдруг сделалась слаще всяких конфет и которую в лавке расхватили до самого пола, — волокли кто на горбу, кто на тачке, а кто в ведрах на коромысле.

Рассаживались ли на завалинке запечные старцы, — и они, не как прежде, сходились для одного лишь коротания летней погожей зари, а, гонимые все тем же недугом напасти, гадали и рядили, прикидывали на свой стариковский салтык, как оно будет, каково пойдет дале, ежли уже теперь оплошали и дозволили немцу потоптать уймищу своей земли.

И даже детишки в гурьбе на выгоне больше не забавлялись в жучка и салочки, а словно бы с ними чего сотворили, навели какую порчу, — все враз кинулись выстругивать себе сабли, ружья да пугачи. Допоздна — матерям не дозваться — галдят, галдят драчливо за огородами, бегут, бегут куда-то, пригнувшись, прячутся по канавам и все пукают друг в друга из тесового оружия.

Но только ли на людях — на всей деревне с ее заулками и давно не поливавшимися грядами, на всякой избе и каждом предмете в дому отпечатано это нестираемое клеймо военной хворобы. От всего веяло порухой прежнего лада, грядущими скорбями, все было окроплено горечью, как подорожной пылью, и обрело ее привкус. Этот недуг души, разлад в ней и сумятица ломали, муторили и самого Касьяна, когда он оказывался во всеобщей толчее — возле правления, на скотном базу или в мужицком сходе на улице. И только здесь, в лугах, в

росном безбрежье трав, в безлюдной вольнице под мирный всхрап коней и бой перепелов, Касьяна постепенно отпускало.

Раза два он уже вставал с кожуха, отыскивал оседланного Ясеня, объезжал и поправлял табун, чтобы широко не растекался, и здесь, в седле, к полуночи его настиг внезапный и такой нестерпимый голод, как после избавления от болезни. Он бросил объезд и напрямки, через лошадей, вернулся к узелку. И тут кусок крутого хлеба, на поду испеченного Натахой еще на мирной неделе, который он густо осыпал серой крупной солью и которым жадно хрустел теперь с молодым перистым луком, впервые за весь день обрел свой прежний житный вкус и даже обостренный аромат далекого детства — без горечи гнетущей несвободы.

С берегов Остомли в легкой подлунной полумгле деревня темнела едва различимой узенькой полоской, и было странно Касьяну подумать, что в эту полоску втиснулось почти полторы сотни изб с дворами и хлевами, с садами и огородами, да еще колхоз со всеми его постройками. И набилось туда более пятисот душ народу, триста коров, несчетное число телят, овец, поросят, кур, гусей, собак и кошек. И все это скопище живого и неживого, не выдавай себя деревня редкими огоньками, чужой, нездешний человек принял бы всего лишь за небольшой далекий лесок, а то и вовсе ни за что не принял, не обратил бы внимания — такой ничтожно малой казалась она под нескончаемостью неба на лоне необхватной ночной земли! И Касьян приходил в изумленное смятение, отчего только там ему так неприютно и тягостно, тогда как в остальной беспредельности, середь которой он теперь распластался на кожухе, не было ни горестей, ни тягостной смуты, а царил лишь покой, мир и вот эта извечная благодать. И на него находило чувство, будто и на самом деле ничего не случилось, что война — какая-то неправда, людская выдумка.

И он отвернулся от деревни и, доедая ломоть хлеба, принялся глядеть за реку, в благоухающую кипень сырых покосных перелесков, где все живое, не теснимое присутствием человека, раскованно и упоенно праздновало середину лета.

«Вот же нет там никого, — думалось ему, — одна трава, дерева да звезды, и нет никакой войны...»

Но где-то уже за полночь в той стороне, откуда быть солнцу, в ночные голоса лугов прокрался едва приметный звук, похожий на гуд крупного жука. Касьян даже пошарил вокруг глазами, в эту пору жуки всегда летели с той стороны, из дубравных лесов, и не раз доводилось сбивать их шапкой. Отыскав потом по басовитому рыку в траве, Касьян заворачивал в тряпицу и приносил эту занятную диковинку своим ребятишкам.

Но приглушенный гуд постепенно перешел в гул, который все нарастал и нарастал, как наползает грозовая туча. Нездешний и отчужденный, с протяжным стонущим подвыванием, он неотвратимо и властно поглощал все остальные привычные звуки, вызывая в Касьяне настороженное неприятие. Сначала расплывчатый и неопределенный, он все больше густел, все явственнее определялся в небе, собирался в ревущий и стонущий ком, обозначивший свое движение прямо на Касьяна, и, когда этот сгусток воя и рева, все ускоряя свой лет, пересек Остомлю и уже разрывал поднебесье над самой головой, Касьян торопливо стал вглядываться, рыскать средь звезд, размытых лунным сиянием.

В самой светлой круговине неба он вдруг на несколько мгновений, словно потустороннее видение, схватил глазами огромное крылатое тело бомбовоза. Самолет летел не очень высоко, были различимы даже все его четыре мотора, наматывавшие на винты взвихренную лунную паутину, летел без огней, будто незрячий, и, казалось, ему было тяжко, невмочь нести эту свою черную слепую огромность — так он натужно и трудно ревел всем своим распаленным нутром.

Стихли, перестали взмахивать своими прутиками перепела. Затаился, оборвал сырой скрип коростель, должно быть, вытянулся столбиком, подняв к небу остренькую свою головку, сделав себя похожим на былку конского щавелька. Кони тоже оставили траву, замерли недвижными изваяниями. И только Варин жеребенок не выдержал, сорвался было куда-то, но, внезапно остановившись, потрясенно упрясь в землю широко расставленными ножками, залился отчаявшимся колокольцем. Варя, сама придавленная моторным ревом, не пошевелясь, не поворотив даже головы, а лишь подобрав брюхо, исторгла какой-то низкий утробный глас, какого Касьяну не приходилось слышать от лошади, и жеребенок, поворотив обратно, с ходу залетел под материнский живот, в самый темный подсосный угол.

Пройдя зенит, будто перевалив через гору, бомбовоз, уже снова невидимый, умерил свой рев и, отдаляясь, стал все глуше и глуше уходить к закату, возвращая лугам нарушенную тишину. Еще какое-то время он неприкаянно стонал где-то за деревней, пока наконец не изошел совсем, опять превратясь в ничто, в небылое...

Но еще долго после того луга онемело молчали. И лишь много спустя робко, неуверенно фтюкнул первый перепелок, за ним подал о себе знать второй, а уж глядя на них, расслабился в своей потаенной стойке и коростель, вновь из щавелевой былки обернулся скрипачом, пока еще несмелым, не одолевшим робости.

Но едва все наладилось, пошло своим прежним чередом, едва кони вспомнили о траве, как

на востоке сиова вкрадчиво заиыло, занудело, разрастаясь вширь упрямым гудом. И опять в иадсадном напряжеиии всех своих моторов черной отрешеииой громадой прошел другой такой же бомбовоз. И было слышно, как от его обвального грохота тоико позвякивала дужка иа боку Касьяиова котелка.

Потом проследовал тем же путем третий, четвертый, пятый...

Касьяи досчитал их до двух десятков, а оии все летели и летели, озабочеииые какой-то одним им известиой устремлениостью, заставив окоичательио приумолкиуть окрест все живое. И даже коии больше не пытались кормиться, а так и остались стоять, как при обложиой иепогоде.

А бомбовозы все летели, заполияя иочь иарастающими волиами грома, и, пройдя иад Касьяиом, сиова обращали рев в затихающий гул, а гул в замирающее стонаиие...

— Это ж она... — потеряиио трезвел иа своем мокром от росы полушубке Касьяи. — Она ж летит...

Ои даже ие решался иазвать это прямо, тем единствеиным жутким словом, замеиы которому не было, будто боялся иавлечь беду и сюда, в ночные луга. Но теперь уже ии в нем самом, ии во всей округе ие оставалось ни покоя, ии той благодати, которые еще иедавио заставили было его поверить в иеправду случившегося.

Войиа летела иад иим, заполияя собой все, сотрясая каждую травинку, проникая своим грозным воочием в каждую пору земли, в каждый закоулок сознаиия.

— Видать, разгорается не на шутку, — говорил сам себе Касьяи, догадываясь, что эти тяжелые миогомоториые чудовища перегоияли к фроиту откуда-то из глубииы страиы. Ои иикогда еще ие видел таких огромиых самолетов. Где-то они таились до поры, как прячутся иевесть где до своего массового лета те чериые рогатые жуки, которых ои сбивал шапкой. И еще терзала его догадка, что, ежели и такая сила не может побороть врага, который успел заглотить за эти дии столь миого от России, стало быть, у иего, у иемца, и того больше заготовлеиа сила. Зиачит, придется идти. И ему, и всем подчистую...

Лишь перед рассветом, когда иа востоке проклюиулась зелеиая иеспелая заря, бомбовозы, будто убоявшись грядущего солица, оборвали свое пришествие: одии ушли дальше, на запад, другие больше ие появлялись, оставшись где-то иа скрытых гнездовьях дожидаться своего череда.

Так во тьме ночные существа, иевольиики иистиикта, летят иа пламя пожирающего их костра.

И когда в самом зачатке утра, продрогшего от росы и израсходоваиного вчерашиего тепла земли, иакоиец иаступила тишина, она, эта тишииа, как и само утро, показалась Касьяиу серой, безжизиеииой немотой — то ли оттого, что еще не взошло солнце, или потому, что сковаиио и непривычио молчали луговые птицы.

6

Касьяиова деревеиька Усвяты некогда тяиулась одиим порядком по-иад убережиой кручей, и все избы этого порядка были обращены в заливные луга — любил русский человек селиться на высоте, чтоб душа его опахалась далью и ширью и чтоб иичто не застило того места, откуда заиималось красио солиышко.

Со временем, миожась, люди заложили и второй посад, позади первого, и образовались две улицы — Старые Усвяты и Полевые Усвяты, разделеиные между собой привольным муравистым выгоиом. Выгои этот был для полевских как бы своим лужком: здесь по первой траве весело желтели гусиные выводки, иа все лады мекали привязанные телки, а по праздиикам девки и парии устраивали свою толоку с гармошкой и припевками.

Уже иа памяти стариков Полевые Усвяты дважды выгорали почти до последией избы — то ли оттого, что люди там строились покучиее, поприлепистее, то ли потому, что на том посаде, иа самом материке было мало колодцев.

Горели полевские летом, в суховейные годы, когда перед тем иадолго задувал юго-восточный, или, как тут иазывали его, татар-ветер. Ои выметал с дорог всю пыль до окамеиелой черии земли, закручивая в хрусткие трубки листья на огурцах и картошке, скрипел пересохшими плетиями и задирал застрехи пороховых соломенных кровель.

Как ии береглись в это время, как ии запасали воду в бочках и кадушках, но довольио было иевесть кем оброиеииой искры, чтобы все это, измучеиное сушью, враз заиялось неудержимым полымем, с гудом пластавшим свои языки вдоль всего посада.

Касьяи и сам, будучи еще мальчишкой, захватил последиий такой пожар. Помиит, как закричали, завыли вдруг иа дальием конце Полевых Усвят, где теперь обитал Давыдко, как туго взбугрился желто-зелеиый клуб дыма и тотчас отлетел в сторону, будто при взрыве, и поиеслись рвать и метать злые, ярящиеся на ветру гривы, густо сорившие вдоль улицы огнеиными шмотьями и хлопьями. И вот уже закричали, заголосили на других дворах — и тех, что уже заиялись, и тех, что ждали своей иеизбежиой участи.

Мииуло тридцать лет, а Касьяи и до сих пор с изморозью на душе вспомииает этот страшный, погибельиый крик, вместе с огием и татар-ветром катившийся от подворья к подворью.

И нынче случилось похожее на тот давний пожар.

Воротясь из ночного, Касьян копался под навесом, где у него был верстак, разбирал на всякий случай кое-какой поделочный материал, скопленный для домашнего обихода, когда послышался отдаленный бабий крик. Кричали где-то в Полевых Усвятах.

Встревоженно острясь слухом, Касьян отворил заднюю калитку в маленький садок из нескольких молодых яблонь и вишенника по омежью, пробрался под ветвями в конец.

Перед Давыдкиной избой, зачинавшей Полевской порядок, причетно выли две бабы, осыпанные понизу ребятишками. Над ними возвышался какой-то верховой в седле. Глядеть было далековато, лиц не различить, но и без того Касьян понял, что сумятилась так, на всю улицу, Давыдкина Нюрка с детвой и старая Давыдчиха. Верховой отвалил от ихней избы, и обе бабы еще пуще заголосили, вознося руки и переламываясь пополам в бессильном поклоне. А верховой уже свернул через два дома к воротам Афони-кузнеца, и там тоже вскоре завыли, не выходя на улицу. Так и пошло, где через два двора, где через три, а где и подряд в каждом дворе. Верховой, подворачивая, словно факелом подпаливал подворья, и те вмиг занимались поветренным плачем и сумятицей, как бывает только в российских бесхитростных деревнях, где не прячут ни радости, ни безутешного горя.

— Повестки... — холодея, догадался Касьян, и, когда верховой переметнулся к Старым Усвятам, заходя с дальнего от Касьяна конца, он, не зная, чем занять, куда деть эти последние минутки, снова забился в свой куток, стараясь совладать с собой, подавить оторопь, будто начатое там, в кутке, дело-недело оборонит его от неизбывного.

Дома в этот час никого не было. Натаха вместе с Касьяновой матерью, бабкой Ефросиньей, ушли на подгорные ключи полоскать белье. С ними увязались и Сергунок с Митюнькой.

Оцепенело скованный ожиданием, Касьян машинально продолжал перекладывать бруски и дощечки: годное — в одну сторону, негодное — за порог, на растопку, когда, вздрогнув, как под бичом, услышал у ворот конский топот и чужой, незнакомый окрик:

— Хозяин! А, хозяин! А ну выдь-ка сюда.

В верховом, глядевшем во двор через плетень прямо из седла, Касьян распознал посыльного из Верхних Ставцов, где располагался сельсовет. Остро, ознобливо полоснуло: «Вот он и твой черед...» И все еще продолжая вертеть в руках сухой березовый обмылок, из которого собирался нарезать колесиков для детской покатушки, он глядел уже невидящими глазами, медля выходить, пока его не понукнули во второй раз:

— Эй, слышь! Некогда мне...

— Да иду... Иду я...

Отшвырнув брусок, Касьян заученно провел ладонью по волосам, как всегда при встрече гостей, вышагнул из-под застрехи и нетвердо, опасливо направился к воротам.

— Она? — спросил Касьян, подходя, упавшим голосом и зачем-то обтер руки о штаны.

— Ох, она, браток! Она самая...

Посыльный достал из-за пазухи пиджака пачку квитков, полистал, озабоченно шевеля губами, про себя нашептывая чьи-то фамилии, и наконец протянул Касьяну его бумажку. Тот издали принял двумя пальцами, будто брал за крылья ужалистого шершня, и, так держа ее за уголок перед собой, спросил:

— Когда являться?

— А там все указано. Послезавтра уже быть на призывном. Иметь при себе котелок, ложку, все такое. На-ка, друг, распишись.

Посыльный подал через плетень свернутую чурочкой клеенчатую тетрадку со вставленным между страниц чернильным карандашом. Тетрадка была уже изрядно потрепана, замызгана за эти дни множеством рук, настигнутых ею где и как придется, как только что застала она Касьяна. Перегнутые и замятые ее страницы в химических расплывах и водяных высохших пятнах, в отпечатках мазутных и дегтярных пальцев, с этими молчаливыми следами чьих-то уже предрешенных судеб, чьих-то прошумевших душевных смут и скорбей, пестрели столбцами фамилий, против которых уже значились неумелые, прыгающие и наползающие друг на друга каракули подписей. Попадались и простые кресты, тоже неловкие, кособокие, один выше другого, и выглядели они рядом с именами еще живых людей, будто кладбищенские распятия.

Касьян свернул повестку, сунул ее за шерстяной чулок. Потом, присев на одно колено, а на другое приспособив тетрадку, мазнул послюнявленным пальцем по соседству со своей фамилией и неуверенно, без привычки расписался.

— Кого еще из наших? — попытал он.

— Один не пойдешь, — неопределенно ответил верховой, засовывая тетрадку за пазуху. — Скучно не будет.

— Махотина берут?

— Это который?

— Алексей Дмитрич. Четверта изба от меня.

— А-а! Кучерявый такой? Уже поперед твоего расписался.

— А Николая Зяблова?

— И его. Вот только оттуда.

— А Лобова? Матвея Семеновича? Конюхом он, как и я.

— Да что я, всех упомню, что лн? Вон сколь повесток! Трн деревни тут. И Матвея твоего подберут, куда ои денется от этого.

— Выходит, под метлу...

— Что поделаешь. Зиачнт, люди требуются. Как дровца в печку. Сказывают, больио сил у него много. Прет н прет, никакого удержу... А что, хозяин, этого самого не найдется ли?

— Чего этого? — не поиял Касьян.

— Ну... что тут непоиятного? — засмеялся верховой. — А то с утра мотаюсь по деревням... Бабы все нутро вытрепалн, кабудто я в этом вниноватый.

— А-а... Нет, друг, этого пока нету. Не взыщн.

— Пошто так-то? Алн нтнть не собирался, не припас?

— Ну да что теперь говорнть... Дак чего хоть слыхать? Где немец-то? В какнх местностях?

— А-а... — верховой отвернул от плетня, задергал поводьями. — Вот пойдешь, сам и узнаешь... Но-о! Но, пошел!

Касьян, опершнсь на нзгородь, проводил вестового, пока тот не скрылся, не свернул к кому-то в заулок, и, тяжело ворочая думу, как впотьмах, вернулся под навес.

Там он долго, опустошенно стоял перед верстаком, обвисиув руками, нн к чему ие притрагиваясь.

«Ну дак чево там... Все к тому н шло... — думал Касьян, привязавшись взглядом к щелке в стеие, сквозь которую протянулся под навес солнечный лучик. — Вон н трактора в эмтеэсе вместе с людьми забрали. Стало быть, армия уже своим не обходнтся, колн по сусекам начинают местн».

Трактора гиалн вчера под вечер полевым шляхом по-за Касьяиовой деревие, н многие бегали смотреть. Взяли пока один гусеиичные. Сперва прошлн два старых «Челябиица» без кабин, с притороченными сзадн бочкамн запасного горючего. Машины, выхаркивая из патрубков кероснновую воиь, торопко моталн гусенн цами, топнли их в пухлой дорожиой пыли, и та, растревоженно клубясь в вечернем безветрнн, уже толсто осела н на жарко-потиые, сочащиеся автолом распахнутые моторы, и иа привязаиные бочки, чериевшие бархатиымн подтеками, и на самих верхиеставцовских тракторнстов, успевших за четыре версты путн зарастн пылью до серой безликой иеузиаваемостн. Касьян и впрямь не узнал нн одного из троих, сидевших на первом тракторе, н только иа втором углядел Ваиюшку Путятиил, который эту весну работал иа ихних полях. Рядом с Ваиюшкой тряслась всем дробнеиькнм телом какая-то девчоика в туго обвязаиином вокруг шеи платке, тоже в иедвижиой, омертвелой маске нз пыли, — должно быть, Ванюшкина зазиоба, увязавшаяся провожать, может, до самой стаицнн, все трндцать пять верст. Ванюшкин напарннк уступил ей свое место, пересел на головиую машину, и они, вдвоем, дыша этой пылью, разлученные грохотом и тряской, немо короталн свон последние часочкн.

— Совсем?! — крикнул Касьян проезжавшему мимо Ванюшке.

Тот за шумом не понял, наклоиился за край сидеиья, помахал возле уха черной пятерней, мол, ни фига не слышно.

— Совсем, говорю?! — повторнл Касьян, зашагав рядом с машнной, н тоже стал делать знакн, махать рукой на закат, туда, где должна быть война.

Ванюшка накоиец догадался, распахнул молодые зубы в улыбке н, воздев рукн над головой, сделал нз ннх крест, дескать, все, рассчитался и с эмтеэсом, н с домом, и со всемн здешннми делами. Крест, мол, всему.

И, сдериув кепчонку, обнажив спутаиный и запарений чубчик, помахал ею остомельцам и, превозмогая лязг и грюк, бесшабашио прокричал:

— Броня крепка, и танки нашн быстры! Не поминайте лихом!

Потом, через некоторое время, следом прошли еще четыре гусеничных.

Оии прогрохоталн с наглухо задраенными окнами кабин, уже в отчужденном безразличии к закатно-молчаливым хлебам, обдав их напоследок клубамн пылн, н те, еще недавио чисто желтевшие по обе стороиы, осиротело померклн н омрачилнсь осевшей на них густой пелеиой.

— Покатилн ребяткн... — Дедушко Селнван в раздумье потыкал батожком серо-мучиой прах отпечатков гусеинц на дороге. — Ну дак чё... Скоро и до лошадей дойдет. Лошадь за кочку не спрячется. Кавалерия сичас первый урон иесет. А коия на заводе ие сделаешь.

Расходясь, людн видели, как иа крыльце правления стоял Прошка-председатель и, застясь от низкого солнца, тянулся шеей и сплюсиутой своей кепкой вослед уходившей колоние. И выглядел он в этот закатиый час на пустой коиторской веранде согбенным и одиноким...

Невелнка бумажка — повестка, но, пока Касьян стоял под навесом, пытаясь собрать воедиио разбежавшнеся мысли, ои все время чувствовал ее за чулком, как сосущий пластырь на иарыве. И все вертелось пустое, неотвязное: «Вот тебе н Клавка-продавщица с цветочком... Нашла-такн, нанюхала...»

Ои присел на чурбак, толстый ракитовый кряж, попнулся за повесткой и уже развериул было, чтобы все перечитать, как там н что сказаио, но в самый раз забрякала иа калитке железиая зацепа, и Касьян, воровато огляиувшись, поспешно сунул бумажку опять за чулок. Не мог, ие хотел он, когда еще и сам не обтерпелся, ие обвыкся с иеи, не подготовнлся духом н сиЛамн, чтобы так вот сразу показать

повестку Натахе и матери. Натахе в ее положении особенно. И он через плечо пытливо посмотрел на жену: знает или еще нет?

Но Натаха, судя по всему, ни о чем не знала, за возней с бельем внизу под горой, поди, не слышала и того тарарама, что наделал тут сельсоветский вестовой. Мать с корзинами на коромысле, Натаха с узлом на руке — обе, лишь мельком взглянув на Касьяна, устало прошли в прохладные сени. Сергуньки с ними не было, успел забежать куда-то, Митюнька же, увидев отца, сидевшего на чурбаке, метнулся к нему, втиснулся меж Касьяновых колен и умиротворенно замер, как жеребенок в привычном стойле. Касьян растерянно погладил Митюньку, это щемяще-родное существо, свою кровинушку, ощущая под ладонью напеченную жарой головку, сладко пахнущую детскостью, влажным травяным подгорьем. Боязно было подумать, что уже через два дня он вот так больше не приголубит сынишку и не увидит его совсем...

— Пап, а Селезка лягуску забил,— донес Митюнька на брата.

— Как же он так?

— Палкой! Ка-а-к даст! Я ему — не смей, она холосая, а он взял и забил... Нельзя убивать лягусок, да, пап?

— Нельзя, Митрий, нельзя.

— И касаток нельзя. А то за это глом удалит.

— И касаток.

— И волобьев...

— Ничего нельзя убивать. Нехорошо это.

— Одних фасыстов мозно, да, пап?

— Ну дак фашистов — другое дело!

— Потому сто они с фасыским знаком. Ты пойди и всех их плибей, ладно, пап?

— Пойду, Митя, пойду вот... Ну, ступай, сынка, ступай, а то я тут... работаю...

Никакая, однако, работа на ум не шла. Даже этот заветный Касьянов закуток с развешанными по гвоздям пилами и ножовками, коловоротами и буравцами, всегда одним только видом смягчавшими душу, доставлявшими утеху, теперь теснил его своими стенами, и все здесь утратило смысл, отдалилось куда-то, отошло от Касьяна своей ненужностью. Он вышел во двор, без внимания, как уже нехозяин, обвел глазами плетни и постройки и, томимый какой-то внутренней духотой, душевной спертостью, не находя себе места, в чем был — в старых галошах и шерстяных чулках, где за пагольником лежала так и не прочитанная повестка, бесцельно, от одной только тесноты вышагнул за калитку, на уличный ветерок.

7

Улица была уже безлюдна в оба конца. После наскока вестового, выплеснувшись первой волной за ворота, выкричавшись там самой нестерпимой болью, бабье горе отхлынуло, убралось во дворы и там теперь, забившись в избы, дострадывалось, обтерпевалось в одиночку, каждой женщиной самой по себе, кто как горазд: иная безголосо, ничком уткнувшись в подушку, иная онемев на сундуке с безвольно оброненными руками, иная ища облегчения пред восковыми и равнодушными ликами святых угодников. Но выдюжив это первое сокрушение, постепенно приходя в себя и уже начиная жить и дышать этой новой бедой, как единственной данной им теперь явью, они примутся полуощупью двигаться по избе, искать себе дела. И вот уже вскоре, с еще не просохшими глазами, затеют подорожную стирку, спохватятся замешивать и сами подорожники и разошлют детишек по всем Усвятам и дальше Усвят, по близким и дальним родичам — разносить по ним последнюю весть, скликать к завтрашнему прощальному застолью.

Все так же бесцельно Касьян забрел в нижний городчик, постоял там середь капустных и огуречных гряд, даже прилег внизу у самого ровца под старой ракитой, но и тут ему не стоялось и не лежалось, и он наконец надумал себе занятие — сходить к Алексею Махотину да хоть покурить вместе. И, сразу почувствовав облегчение, поспешно встал, перепрыгнул ровец и зашагал, зашлепал галошами окольной тропой под межевыми ракитами.

Махотина дома не оказалось. Вышедшая на собачий брех старая Махотиха скуксилась, ужала в себя беззубый подбородок, запричетывала:

— Ох, Касьянушко, голубок! Ноги подкашиваются: пришла, пришла ему-ти бумага, штоб тому-то Гитлеру ни дна, ни покрышки, откудова он токмо, мамай, свалился на наши головушки... Побег Ляксей наш к мужикам узнать, как да чево. Гляжу, ходит, ходит по избе-то, вот курит, вот курит! Да и пошел. Сказывал, будто к Зябловым. А тебе тоже прислали, ай минули?

— Прислали, мать, прислали.

— Ох, горемышные вы мои! Страдальцы наши! Дак хоть вместе пойдете, своей кучкой. Вместе оно все не так: куском поделитесь, словом ли... А ежели, не приведи богородица, поранють, дак и повяжите друг дружку. Ох, лихо, лихо — лишей и не было. Дак у Зяблова он, там яво пошукай, батюшко.

Не сиделось в этот день мужикам по домам, не можилось: торкнулся Касьян к Николе Зяблову, а того тоже нет в своей избе. Заходил-де за ним Махотин, да вдвоем вот толечко утрехали, кажись, к Афоне-кузнецу.

Касьян — к Афанасию, но и того дома не нашлось, и в кузне, сказали, искать его нечего: не пошел-де нынче к горну, как получил призывную бумажку.

Начал Касьян самым низом Старых Усвят, а очутился аж на Полевой улице. Никогда, ни

в кои годы, ни при каких прежних бедах не бегал вот так борзо по чужим дворам, не искал на стороне себе опоры, как ныне: не чаял встретить кого ни то...

Да так вот и забрел к пустой избе дедушки Селивана...

Стояла она в общем порядке сама-разъединиа, справа никого, слева никого, один репей бушует — скорбно пройти мимо, не то чтобы войти. Да и заходить не к кому: в такой-то день старик и вовсе завеялся, толчется теперь по чужим дворам. Скосился Касьян на мутные оконца без занавесок и даже вздрогнул нежданно: в темной некрашеной раме за серой мутью стекла, как из старой иконы, глядел на него желтенький лик в белесом окладе. И делала ему знаки, призывно кивала щепоть, дескать, зайди, зайди, мил человек.

В другой раз, может быть, и не зашел бы Касьян, отнекался, а тут, и не подумав даже, обрадованно и нетерпеливо пнул калитку, проворнее, чем следовало гостю, шагнул в сени и дернул дверь в жилье. Глянул в горницу, а там за табачищем — мать честная, вот они где, соколики! — и Леха Махотин, и Никола Зяблов, и Афоня-кузнец.

Леха ничего еще, а Никола тоже вроде Касьяна, ушел из дому, как есть, в одной красной майке. И только Афоня-кузнец был уже прибран, в сатиновой рубахе, запахнутой на все пуговицы, да еще пиджак сверху.

Мужики, разглядев, кто вошел, оживились, тоже обрадовались:

— Гляць-ка, еще один залетный!

— Было б запечье, будут и тараканы, — засмеялся дедушко Селиван. Он был без привычного картуза, и безволосая его головка маячила в дыму, как недозрелая тыковка, какие по осени не берут, оставляют в огородах. — Заходь, заходь, Касьянко!

Касьян с тем же радостным, облегчающим чувством крепко потискал всем руки.

— А мы тут... тово... балакаем, — пояснил Селиван. — От баб подальше. А то сичас такой момент, што токмо бабу и слухать, вытье ее. Далече, казак, скакал-то? Гляжу вон, и штаны в репьях.

— Да... телка искал, — уклонился Касьян от правды. — Забежал куда-то...

— Найдется! Давай, садись посиди.

Касьян охотно присел на поднесенную табуретку и, обежав глазами холостяцкое жилье дедушки Селивана, неметеное, с усохшим цветком на подоконнике, достал и себе кисет с газетой на курево.

— Да как бы собаки куда не загнали, — вернулся к прежнему Касьян, чувствуя, что надо что-то говорить, притираться к компании. Все хоть и свои, знакомые до последней метины, до голого пупка, но нынче у каждого такое, что и не знаешь, что поперва сказать.

— А ну, дай-кось твоего, — потянулся к кисету Никола Зяблов. — Сколь у тебя закуриваю, а никак не раскушу, чего ты туда добавляешь.

Другие тоже соблазнились табаком, начали отрывать бумажки.

— А ничего особого и не добавляю. — Касьян польщенно пустил кисет по рукам. — Донничку самую малость.

— Белого или желтого?

— Любой сгодится. Но я белый больше люблю. А так ничего другого. Остальное сам по себе лист свое кажет.

— Лист и у меня самого такой.

— Такой, да не такой, — сказал Леха Махотин, раскуривая цигарку из Касьянова табака.

— Ох ты! А какой же? Я ж у него рассаду и брал, у Касьяна.

— Мало чего — брал.

— Рассада еще не завод, — грудно выбасил Афоня-кузнец, чисто выбритый, причесанный надвое, как на Май. — Я вон нынче взял в Ситном, у свояка, капусты. Понравилась мне его капуста, сладкая. И сажали по уговору в один день, и земля моя не хуже, тоже низко копал, под горкою. Дак у свояка уже завилась, а моя — как занемела.

— От одних отца-матери и то дети разные, — согласно закивал Селиван. — А уж растенье и вовсе не знать, куда пойдет.

Мужики перекидывались с одного на другое, все по пустякам, не касаясь того главного, что сорвало их со своих мест, потянуло искать друг друга. Но и пустое Касьяну слушать было приятно: в неухоженной Селивановой избе среди сотоварищей, помеченных одной метой, сделалось ему хорошо и не тягостно, как бывало прежде перед праздником, когда в ожидании стола и чарки никому не хотелось попусту тратиться припасенным разговором, не спешилось ни о чем таком говорить походя, без повода и причины.

Касьян, однако, не знал, что было уже послано, и тем временем чарка объявилась и взаправду.

Хлопнула калитка, в сенях шумно затопали, и в избу ввалился Давыдко, да еще и с Кузьмой, своим шурином, длинным, сутулым мужиком по прозвищу Кол. Кузьма, кажись, был уже выпивши: зеленцовые его глаза волгло смаргивали, будто им не сиделось, было боязно глядеть с такой жердяной и ненадежной высоты. Давыдко, озабоченно распаленный хлопотами, тут же извлек из камышовой кошелки и выставил на голый стол одну за другой три засургученные поллитровки. Потом пригоршнями стал зачерпывать магазинские пряники и обкладывать ими бутылки. Вслед за ним и шуряк, перегнувшись пополам, начал таскать из мешка съестное: кругляш горячего, еще парив-

шего хлеба, хороший шмат сала, надрезанный крестом, несколько штук старой, еще от того года, редьки в погребной земле, мятые бочковые огурцы и чуть ли не беремя луку, который об эту пору отдувался за всю прочую неподошедшую зелень.

— Ох, ловко-то как! — засуетился дедушко Селиван. — Ну ежели так, то за хлеб, за сальцо спляшем, а за винцо дак и песенку споем. Сичас, сичас и я у себя покопаюсь...

Он распахнул темный шкафчик и, привставая на носки, принялся шебуршить на его полках — достал старинную рюмку на долгой граненой ножке, эмалированную кружицу и несколько разномастных чашек.

— Все разного калибру, — виноватился старик, дуя в каждую посудину, выдувая оттуда застоялое время. — Дак ведь и так еще говорится: не надо нам хоромного стекла, лишь бы водочка текла. — И он, озорно засмеявшись, снова обратился к своему ларю. — А вот вам, орелики, и ножик редьку ошкурить. Не знаю, востер ли? И сольца нашлася. Соль — всему голова, без соли и жито трава. Да-а... Была бы жива старуха, была бы и яишанка. Ну да што теперь толковать... У меня теперича два кваса: один што вода, а другой и того жиже.

Селиван опять посмеялся своим легким готовым смешком.

Увидев все это на столе, Касьян с неловкостью созиался:

— У вас тут, гляжу, складчина. А мне и в долю войти не с чем...

— Да уж ладно, — загомонили мужики. — Без твоей доли обойдемся.

— Нашел об чем. Не тот день, штоб считаться. Давай, подсаживайся.

— На пятерых припасено, а шостый сыт, — присказал и хозяин. — Брат брату не плательщик. Отноне все вы побратимы, одного кроя одежка: шинель да ремень.

— Это уж точно, обровняли, — кивнул Никола Зяблов.

Мужики подвинули лавки, расселись вокруг стола, источавшего огуречный дух с едкой примесью редьки и, пока Давыдко разливал по посудкам, уклончиво глядели себе под ноги. Не притрагивались и потом, когда было все изготовлено, не решались взять в руки непривычные эти чары: всякие питы — и крестины, и новоселья, и похороны; а таких вот еще не доводилось.

— Ну, помолчали, а теперь и сказать не грех, — подтолкнул дело хозяин. — Есть охотники?

Мужики помялись, косясь друг на друга, но промолчали.

— Ну, тади скажу я, ежели дозволите.

— Скажи, Селиван Степаныч.

— Ты хозяин, тебе и слово.

Селиван привстал, прихорошил ладошкой сивую бородку, пересыхающим ручейком стекавшую на рубаху, поднял граненую рюмку, задержал ее перед собой, как свечу.

— Ну да, стало быть, подступил ваш час, ребятушки. Приспело времечко и вам собрать сумы...

Дедко еще только начал, но тяжелы были его слова, и стало видно, как сразу отяготили они мужицкие головы, как опять пригнуло их долу.

— Думал я, когда ту кончили войну, што последняя. Ан нет, не последняя. Накопилась еще одна, взошла туча над полем...

Дедушко Селиван задержал взгляд на окне. Дрожавшая в его руке рюмка скособочилась, пролилась наполовину, но он не заметил того.

— Тут у нас все по-прежнему, — кивнул он в оконце. — Вон как ясно, тишина, благодать. Но идет и сюда туча. С громом и полымем. Хоть и говорится — велика Русь, и везде солнышко, а теперь, вишь, и не везде...

Старик подвигал туда-сюда бровями, словно сметая в кучку остатние мысли, какие еще собирался вымолвить, но, смешавшись, махнул рукой.

— Ну, да ладно... Хотел еще чево сказать, да што тут говорить... Ступайте с богом, держитеся... Это и будет вам мое слово. На том и выпейте.

Но мужики не враз кинулись расхватывать свои чарки.

Касьян продолжал теребить на штанах остатки въедливого репья, и Леха, обвиснув тяжелым чубом, замкнувшись лицом, следил за его пальцами. Налился подступившей кровью, сопел своими мехами Афоня-кузнец. Ржавым гвоздем согнулся, поник долговязый Кузьма и, чтоб не согнуться вовсе, подперся обоими кулаками. Давыдко исподлобья уставился куда-то в угол, где в полутьме перед погасшей лампадой одиноко висела простенькая дощечка с угодником. А Зяблов встал из-за стола и отошел к окну, загородив свет своею ширью.

И было в той тишине слышно, как в одичалом Селивановом дворе беспечно и обыденно чивикали воробьи.

— А-а, была не была! — наконец тряхнул головой Никола и, воротясь к столу, потянулся за кружкой. — Давайте, браткн. А то так и водка выдохнется.

И, будто пробудившись, мужики ожили, потянулись наперекрест, кто чем, нехоромной посудой, стукнулись и выпили молча и жадно. И пошли шариться по столу грубыми, нехваткими пальцами, разбирая не глядя нарезанное, накромсанное. И ели тоже молча, замедленно ворочая челюстями, жевали пополам с думой.

— Чего в магазине деется! — Давыдко зажмурился, покачал головой. — Содом! Водку нарасхват. Из Ситного понаехали. Говорят, там уже растащили.

— Ну дак чево... Ясное дело. — Никола Зяблов потянул со стола прянин. — У нас, почитай, полдеревни берут.

— Кой — полдеревни!

— И мы, видать, не последние...

— А кто после нас? Хворь одна.

— Как оно пойдет... От метлы щели нет...

— Дак, мужики, чево слыхал я в магазине-то. Будто сперва к конторе собираться. А потом уже оттудова все вместе пойдем.

— Ну и правильно. Так-то ладнее.

— И штоб подводы были. Сидорá покидать.

— Подводы дадут, чего ж не дать. Не в гости к куме...

— Да вон Касьян сам и запрягет, сколь надо.

— Это можно, — кивнул Касьян.

— Касьяну и самому итить.

— Ну дак што... Кто-нибудь потом лошадей обратно отгонит. Да хоть Селиван Степаныч.

— Об чем толк, — готовно согласился дедушко Селиван. — Отгоним, отгоним лошадок. За этим не станет.

— Ну, да ладно. Это пустое, — перебил Никола Зяблов. — Пешие ли, конные — все там будем. А вот забота: сено! Надо бы наказать Прохор Иванычу, штоб нашим бабам сенца дал, не обидел бы. Одни ведь остаются.

— Даст, раз обещался.

— Дак кто же его знает... Время теперь такое... Овес вон забрали. И сено могут затребовать. Лошадей-то, небось на войне тоже надо кормить. Они не виноватые.

— Сено! Хлеб неубранный остается.

— Да-а... — почесал за ухом Давыдко. — Не ко времени война началась. Чтоб ей погодить маленько? Ну хоть недельки бы с три-четыре. Пока б сено прибрали да хлеб. Управились бы, а тогда...

— Что и говорить, не в срок затеялась.

— А и когда война была нашему брату-пахарю в пору? — посмеялся дедушко Селиван. — Смерть да война незваны завсегда.

— А я уж было сарайку начал рубить, — сокрушался Давыдко. — Венца три до крыши не довел. Знато, дак уж лучше б не начинал, лежал бы материал в сухом.

— У меня возле кузни три лобогрейки раскиданы, — покашлял в кулак Афоня-кузнец. — Прошка косится, да чего уж теперь... Делов там еще не на один день.

— Нам все — рано татарам на Русь итить, — засмеялся дедушко Селиван. — Завсегда дела находятся. То б надо, это бы... Дак вон и у Касьяна баба на последних сносях, пышкает, как квашня перед праздником. Тоже надо бы погодить с войной. Так ли, Касьянушко?

— Да уж скоро б должна родить, — потупился Касьян, почувствовав, как от этого напоминания какой-то тоскливый червь опять тошно сосну меж ребрами.

— Ах ты, осподи, грехи наши! — вздохнул и дедушко Селиван. — Погоди бить, дай пальцы в кулак возьму. Ох-хо-хо... Да што поделаешь? Огонь с соломой все равно не улежится. Так и война с нашими делами. А уж ежели занялось, годи не годи, а бросай все да иди. Тут уж тушить надобно, пока и сама изба не сгорела.

Давыдко снова расплескал по чаркам, мужики, оборвав разговор, согласно выпили и тоже согласно закурили. Дым сизыми полостями заходил по избе, ища себе выхода.

— А я, ребята, от посыльного слыхал, — заговорил Никола Зяблов, — будто бригадир заявление в сельсовет подал.

— Какое заявление? — насторожились мужики.

— Ну, штоб, значит, взяли его на фронт. Вроде как по своей охоте.

— Да ну! Иван Дронов?

— Еще на той неделе, говорят, подал.

— Гляди ты... А — молчок. Никому ни слова.

— А чего б ему в дуду дудеть?

— Ну, криворотый! Лих, лих малый!

Мужики поудивлялись, покрутили головами, и было заметно, что им почему-то сделалось неловко друг перед другом от этого известия. С ними было такое, как если бы они вшестером тужились одолеть бревно, но так и не подняли, а пришел Иван Дронов, не шибко-то и казист с виду, но, долго не раздумывая, подхватил и понес. И стало от того совестно и непонятно: как же, мол, так? И в оправдание своей нерасторопности начинала вертеться злая мысль, хотелось придраться, а нет ли тут чего, какого подвоха, по правилам ли сия ноша поднята?

И первым придрался Кузьма, уже заметно охмелевший.

— Да бросьте, не возьмут его! Кто же будет бригадирить? Это он так, покрасоваться. На него небось уже и бронь наложена.

— Да не, на Ивана не похоже, — сказал Леха Махотин. — Не такой он мужик, чтоб козырнуть заявлением.

— А чего ж: подал — а доси дома?

— Что ж тебе, так вот и сразу? Поди, еще рассматривают бумагу-то. Наверно ж, не один наш Иван.

— Посыльной говорил, в Верхних Ставцах еще сколько-то таких, — уточнил Зяблов. — Да из Ситного учитель.

— Ну вот, вишь... Да по другим селам. В военкомате тоже теперь запарка. Ну-ка, всех учти, всех сосчитай, кого брать, кого погодить.

— Так-то, пока рассмотрят, — хмыкнул Кузьма, — дак я, нерассмотренный, поперед их там буду. Какая ж разница? Али за то пули им особые отольют, золоченые?

— А вот та и разница,— сказал Леха Махотин. — То ты сам, а то по повестке.

— Ага... — вертанул белками Кузьма. — В хорошие набивается.

— А ты чего ж не догадался? — спросил Леха. — Ты б тоже, не будь дурак, взял бы да поперед его заявление подал. Глядишь, тебе тоже местечко подобрали б, умнику. Два аршина на бугре. А-а! Кишка тонка! Заткнись лучше.

— А ты? Ты-то сам чего ж не подал? — взвился Кузьма. — Ты ж у нас тоже всех разумней, как послухать. А сам небось первый штаны замарал...

— Не, малый, ошибся,— усмехнулся Махотин. — Штаны мои чистые. Когда надо — пойду. Прятаться за чужие спины не стану.

— Ох, ерой! В земле потурой! А из земли вытащи, дак и лапы кверху.

— Это какие такие лапы? — посерьезнел, насторожился Махотин. — Смотри, друг, говори, да не заговаривайся. Как бы ты свои не задрал...

— Ладно тебе! — одернул Давыдко Шурина.

— А чего он, з-зануда. А то враз по соплям разживется.

Махотин привстал, заходил скулами.

— А ну, давай выйдем... — сдавленно проговорил он. — Пошли, гад!

— Сядь, Алексей,— нажал на его плечо Афоня-кузнец. — И ты, Кузька, не скотничай. Не гни на людей напраслину. Пока нечего корить друг дружку... Кто подал, кто не подал... Еще только за столом сидим... Кто ж был к этому готовый? Тут и с мыслями еще не всякий совладал. Люди мы невоенные, у нас вон земля да хлеб на уме... Генералы и те небось затылки чешут, не знают, с какой карты лучше зайти, какой бить, а какую при себе держать. С какой ни пойдут, все не козырь... Все не наш верх...

— Да уж не козырь, это верно,— проговорил Давыдко.

— Вон у меня в кузне,— продолжал Афоня-кузнец,— на што уголь горюч, железо варит, а и то не сразу разгорается. Его сперва раздуть надо, а тогда и железо суй. Так и это дело. Не всякому человеку вдруг на войну собраться. Не его это занятие. Ивану, поди, жизнь тоже не копейка... Как-никак, трое пацанов. Наверно, ночи покрутился, посмолил табаку. И нечего, Кузьма, чепать его понапрасну.

— Иван партейный,— напомнил Никола Зяблов. — Может, ему так предписано.

— Всем предписано,— сунул бровями Афоня-кузнец. — Да не всяк, вишь, горазд.

И опять помолчали мужики, отрешив себя друг от друга. Кузьма, не дожидаясь череда, потянулся за бутылкой, налил себе одному и единым махом выглотал.

— А я так, ребятки, на это скажу,— встрял в спор дедушко Селиван. — На войну, што в холодную воду — уж лучше сразу. Верьте моему слову. А то ежели с месяц так-то просидеть — голова не своя, в поле не работник, дак маета с думой хуже вши заест. Еще и не воевал, а уж вроде упокойника. А сразу — как нырнул. Штоб душа не казнилась. Да и баб не слухать.

— Не говори! — мотнул чубом Леха. Был он хотя и ряб скуластым калмыцким лицом, но смоляной чуб в тугих завивах красил мужика пуще дорогой шапки. — Не говори, дедко! Вторую неделю война, и вторую неделю моя Катерина ревмя ревет. Садимся есть — голосит, спать ляжем — опять за свое. И все глядит на меня, вытаращится и глядит, будто я приговоренный какой... А давеча,— усмехнулся Леха,— когда бумажку вручили, как взялись обе, Катерина да бабка, как наладились в две трубы, аж кобель на цепи не выдержал. Задрал морду и тоже завыл. Хоть из дому беги.

Лехины шутливые слова про кобеля, однако, заставили всех опять запалить цигарки. Касьян тоже закурил и, отвернувшись, засмотрелся в окно, где текли, текли себе, как сон, белые бездумные облака.

Почуяв неладный крен, дедушко Селиван встал со своего места и бочком пробрался по-за тугими спинами мужиков.

— Э-э, ребятки! Не вешайте носов! — сказал он бодрецой. — Не те слезы, што на рать, а те, что опосля. Еще бабы наплачутся... Ну, да об этом не след. Улей-ка, Давыдушко, гостям для веселья!

И, остановившись позади Махотина и Касьяна, обхватив их за плечи, затянул шутовской скороговоркой, притопывая ногой:

Ах вы столики мои, вы тесовенькие!
А чего ж вы стоите не застеленные?
А чего ж вы сидитё, хлеба-соли не ястё?
То ль медок мой нескусён, то ль хозяин не весёл?

Но тут же откачнулся от обоих, мотнул бородкой с веселой лихостью:

— А по мне, дак так: али голова в кустах, али грудь в крестах!

— Ага... Давай, дед, давай... — Кузьма, заломив луковую плеть, потыкал ею в солонку. — Ага...

— Ась? — не уловил сразу Селиван Кузьминой усмешки.

— Ага, валяй, говорю.

— Вроде и не гусь, а га да га,— отшутился дедко. — Ты к чему это, милай? На какую погоду?

— А так... — Кузьма пожевал лук вялым непослушным ртом. — Хорошо с печи глядеть, как медведь козу дереть...

— Ой ты! — дедушко Селиван изумленно хлопнул обеими руками по пустым штанам.— Глянь-кось, экий затейник! Али я этого не про-

шел? Было мое время — и я с рогатиной хаживал. Ходил, милай, ходил! Да вот тебе, хошь, покажу...

Задетый за живое насмешливым хмыканьем Кузьмы, старик проворно спохватился к шкафчику, задвигал, зашебаршил в нем утварью и пожитками.

— Сичас, сичас, сынок, — бормотал он между распахнутых дверец. — Дай только отыскать... Гдесь тут было запрятано... От постороннего глазу... Никому не показывал и сам сколь уж лет не глядел... А тебе покажу... покажу... Штоб не корил попусту... Ага, вот оно!

К столу он вернулся с тряпичным узелком и, все так же приговаривая «сичас, милай, сичас», трепетно-нетерпеливыми пальцами начал распутывать завязки. Под тряпицей оказалась еще и бумажная обертка, тоже перевязанная крест-накрест суровыми нитками, и лишь после бумаги на свет объявилась плоская жестяная баночка — посудинка из-под какого-то лекарского снадобья.

— На-кось, Кузьма Васильич, ежли веры мне нету... На вот погляди...

Кузьма пьяно, осоловело смигивал, некоторое время смотрел на протянутую жестянку с кривой небрежительной ухмылкой.

— Ну, и чево?

— Дак вот и посмотри.

— А чего глядеть-то?

Понуждаемый взглядом, Кузьма все ж таки принял жестянку, так и сяк повертел ее в руках, даже зачем-то потряс над ухом и, не заполучив изнутри никакого отзвука, отколупнул ногтем крышку.

Коробка была плотно набита овечьей шерстью, длинными, от времени пожелтевшими прядями.

— И чево? — вызрился, не понимая, Кузьма.

— А ты повороши, повороши, — настаивал дедушко Селиван.

Кузьма недоверчиво, двумя пальцами подцепил верхние прядки; под ними на такой же шерстяной подстилке покоился крест.

Было видно, как у Кузьмы медленно, будто не прихваченная засовом воротняя половинка, отвисала нижняя губа.

Мужики потянулись смотреть.

Квадратный, с одинаковыми концами крест был широколап и присадисто тяжел даже с виду. Из-под голубоватой дымки налета пробивался какой-то холодный глубинный свет никем не виданного металла, и, как от всякого давнего и непонятного предмета, веяло от него таинственной и суровой сокрытостью минувшего.

Его разглядывали с немой сосредоточенностью и так же молча и бережно передавали из рук в руки. Забегая каждому за спину, дедушко Селиван заглядывал из-за плеча, чтобы уже как бы чужими глазами взглянуть на давно не извлекавшуюся вещицу. Он и сам уже почти не верил этому своему обладанию и по-детски трепетал и удивлялся тому, что с ним когда-то было и вот теперь и ему, и всем открылось воочию.

— Орден, што ли?.. — наконец, с сомнением предположил Леха.

— Егорий, сыночки, Егорий! — обрадованно закивал дедушко Селиван, задрожав губами. Глаза его набрякли, мутно заволоклись, и он поспешно шоркнул по щеке дрожливо-непослушными пальцами.

— Да-а... — Леха покачал крест на ладони. — Вот, стало быть, каков он... Слыхать слыхал, а видеть ни разу не доводилось.

— Дак где ж ты его увидишь... Ныне этим хвалиться нечего. Раза два уж предлагали, сдай, дескать. И деньги сулили. По весу, сколь потянет. Как за ложку али за серьгу. А я не признался: нету, говорю, и все тут. Давно уж нету. Еще в тридцать третьем, мол, на пшено обменял... Есть, есть и еще старики в Усвятах, которые приприпрятали. Да токмо не скажу я вам, не открою. Не надо вам знать про то. Теперь уж скоро помрем с этим... Велю с собой положить...

— Или царя обратно ждешь? — усмехнулся Кузьма.

— А меня уже про то спрашивали, — без обиды ответил дедушко Селиван. — Про такого сказать бы: под носом проросло, а в голове не посеяно... Вот, Кузька, тебе мой ответ: ты токмо народился, в колыске под себя сюкал, а я уже, милай ты мой, невесть где побывал. Мукден, может, слыхал?

— Это чево такое? — Кузьма шатко приподнялся и, хватаясь за стену, перебрался на хозяйскую койку.

— А-а! Чего! То-то... Штоб ты знал, есть такой город в Манжурской земле. Дале-о-ко, браток, отседова. На краю бела света. Вот аж где! Ужли не слыхал про такой? Дед же твой, Никанор Артемьич, царство ему небесное, тоже тамотка побывал. Разве не сказывал?

— Может, и говорил чево, — дремотно-вяло отозвался с кровати Кузьма. — Уж и дед не помню когда помер.

— Вот, вишь, как оно... — Селиван растерянно замигал безволосыми веками. — Скоро на нас присохло. А уж и текло, текло там красной юшки. У яво, у японца, уже тади пулеметы были. А у наших одни трехлинейки. Ну-тко потягайся супротив пулемета. Ох, и полегло там нашей головушки! Вороха несметные. Ну дак и песня есть про то.

Старик остановился лицом, согнал с него все ненужное, обыденное, оставив лишь скорбную суровость, и, опустив руки по швам, повел ломким заклеклым голоском:

Белеют кресты — это герои спят.
Прошлого тени кружатся вновь,
О жертвах в бою твердят...

Но сил хватнло на одну лишь эту запевку, и глаза его вновь заволоклись и повлажнели.

— Такая вот, ребята, песня. Язвн тя, голосу не хватает... Я как услышу где, сразу и являются передо мной теи дальние места. И доси помнятся.

Он утерся тряпицей, в которой хранил свой Георгий, и опять просиял добродушно и умиротворенно.

— А крест тебе за чего, батя? — спросил Леха Махотин.

— Энтот-то? Ну дак ево мне уже за германскую. За Карпаты. Да н про теи места откудова вам знать, ежели ие бывали. Тоже вот кампания была, галицейская. Пожглн-попалили порохов... Да, соколнкн, все-ё уходит, ничем ие удержать. Прах-пепел заносит. Вот и Егорий побрякушкой стал. Ехал с войны, думал, поиошу, покрасуюсь, а приехал — ни разу и ие надел. На всю жизнь эта на мне отметина, будто я лихоманец какой. Я б, может, сичас не такнм лохматым был бы. Небось не ниже нашего Прохора... А то, говорят, больно за царя перестарался. А хрена мне царь! Я его в трактире на потрете токмо и видал. Нешто я за царя «ура» кричал? Я ж за вас, сопатых, за все вот это нашенское старался. — Старик указал пальцем в окошко. — Как же было землю неприятелю уступать? Ворога токмо впусти, токмо попяться, он ни на что на твое не поглядит, перед самим алтарем штаны спустит... Вон опять на Россию идут, чего, нроды, делают, ни старых, ни малых не разбирают...

При всеобщем раздумье дедушко Селиван принялся опять укладывать орден в жестянку, бережно укрыл его овечьими куделькамн, притворил крышку и, обертывая прежней пожелтелой и квелой бумагой, а потом и тряпицей, заговорил укоризненным бормотком:

— Приспел н ваш черед «ура» кричать. Теперича выкрикивайте свои ордена-медали.

Мужики молча переглянулись, словно бы оценивая, примеряя каждого к грядущему. Для старика были они сейчас как серые горшки перед обжигом: никому из них еще не дано было знать, кто выйдет из этого огня прокаленным до звона, а кто при первом же полыме треснет до самого донца.

8

Не умел дедушко Селиван долго тяготиться обидой и, видя, как присмирели от его слов новобранцы, уловив этот их перегляд, весело повернул разговор:

— Э-э, робятки, не гоже наперед робеть! Поначалу оно завсегда: не сам гром стращает, а страховит неприятельский барабан. А уж коли загремит взаправду, то за громом и барабана не слыхать. Сколько кампаней перебывало — усвятцы во все хаживали, и николь сраму домой не приносили. Вам-то уж не упомнить, а я еще старых дедов захватил, которы в Севастополе побывали и на турок сподабливались. Оно нть глядеть на нашего брата — вроде и никуда больше ие гожи, окромя как землю пластать. А пошли — дак, оказывается, нньше чего пластать горазды.

И, опять засмеявшись, крутанул крепко:

— Гибали мы дугу ветлову, согнем н вязову... А щас пока гуляйте! Давыдушко, уле́й, уле́й попотчевай чем ни то.

И сам, тоже выпивши на равных, посопев сморщенным носом, похватав воздух, хлопнул Касьяна по плечу:

— Все мы тут ие таковские, а уж кто середь нас природный вонтель, дак это Касьянка. Не глядите, что помалкивает, попусту не кобенится.

— Ты уж скажешь, Селиван Степаныч, — зарделся Касьян и непроизвольно подобрал под скамью галоши. — С чего выдумал-то?

— А с того, что знаю.

— Я дак нз ружья птахи и то ие стрелил...

— Это пустое, что не стрелил, — несогласно мотнул головой Селиван.

— Дак тади откуда быть-то мне?

— А вот быть, Касьянка, быть. Нареченье твое такое, браток. Указание к воинскому делу.

— Какое такое указание? — н вовсе смешался Касьян.

— А вот сичас, сичас я тебе все, как есть, раскрою...

Дедушко Селиван, и вовсе развеселясь, опять полез в свой шкафчик н, оживленно покхекивая, воротился к столу с толстой и тяжелой книгой, обтянутой порыжелой кожей.

— Сичас, сичас, голубь, про то почитаем. Про твое назначение.

При виде книги мужики подтянули поближе скамейки, с нетерпеливым интересом, как малые дети, изготовились слушать неслыханное. Всякая книжица, даже школьный букварь, вызывал к себе в Усвятах почтение, а эта, обряженная медными бляхами и застежками, ненашенских времен и мыслей, уже одним своим обликом заставила всех подобраться, а сбитый с толку Касьян даже пригладил волосы, как делал это всегда при встрече пришлого человека, перед неведомым.

В полной тишине дедушко Селиван с усилием разломил надвое книгу, опахнувшую лица сидевших слежалым погребным ветерком

старины, и, отвалив несколько ветхо-кофейных страниц, нацелил палец в середину листа.

— Ага! Вот оно! — объявил он, обретя и сам подобающую благостность.

— А ну-ка, — заерзали мужики.

Отстранясь и подслеповато сощурясь, дедушко Селиван начал ощупью лепить слова по частям, и от этой их разъятости звучали они торжественно и значительно, будто произнесенные свыше:

— Наре... нареченный Касияном да воз... возгордится именем своим... ибо несет оно в себе... освя... щение и благо... словение божие кы... подвигам бран... ным и славиым...

Старик остановил палец и вопрошающе взглянул на Касьяна: усвоил ли тот сказанное?

— А исходит оно... из пределов гре... греческих... из царств... осиянных великими победами... где многия мужи почи... почитали за честь и обозначение Пла... Плаиды... называть себя и сынов своих Касьянами... ибо взято наречение сие от слова... кас... кас... сис... кассис... разумеющего шелом воина... воина великаго и досто... славнаго императора Александра Маке... донскаго... и всякий носящий имя сие суть есьм непобедимый и храбрый шле... мо... носец.

Дедушко Селиван отнял от книги палец и ликующе вознес его кверху:

— Уразумел? Шлемоносец! Во как толкуется имя твое! Выходит, сызмальству тебе это уготовано — шлем носить.

— Чего напишут-то... — растерянно усмехнулся Касьян. — Сызмальства я гусей с теленками пас. Да и теперь за лошадьми хожу.

— Теленков-то ты пас, а шелом тебя, стало быть, еще с той поры дожидался.

— Ну дак все правильно! — хохотнул Давыдко. — Пойдешь днями, наденут железну каску — вот тебе и шлемоносец! Все как есть сходится.

Мужики посмеялись такому простому резону.

— Погодите, погодите! — остановил их дедушко Селиван. — Каску на кого хошь можно напялить. И на козла, и на барана. Не в каске суть. Ты вот думал, что ты Касьян да и Касьян, ан ты, вишь, какой Касьян. Вон как об твоем имени сказано: «Ибо несет оно в себе освящение...» — понял? — «...и благословение к подвигам». Во как! Это не важно, что ты птахи не стрелил. Наука невелика, обучишься. Но ежели тебе уготовано, ты и не стрелямши ни в ково можешь такое сотворить, что и сами враги удивятся и воздадут хвалу и честь твоим подвигам, хотя и понесут от тебя урон и позор великий.

Касьян уже не перечил, а только сидел, нагнув голову, в усмешке терпеливо снося свалившееся на него стариковское празднословие.

— Вижу, парень, не веришь ты этому, — продолжал свое дедушко Селиван. — Дескать, пустое мелется. Ась? Тади давай зайдем с другого конца. Вот скажи, кто есть Прошка наш, Прохор Иваныч?

— Как кто? — пожал плечами Касьян. — Ну, председатель.

— Так, председатель. Верно. А мог ли он об том знать, что будет председателем, когда вот так, вроде тебя, теленков мальчишкой пас?

— Дак откуда ж ему...

— Тоже правильно. Не мог он этого знать. Нарекли его мать с отцом Прохором, бегал по Усвятам этакий конопатенький ушастый пащенок, ничего не знавший о себе, тем паче наперед. Так?

— Ну так, ясное дело.

— А теперича давай заглянем в книгу... — Дедушко Селиван полистал, пришептывая: — Прохор... Прохор... отыщем Прохора... Ага! Вот он! Ну-кось, как тут про него? — И, снова перестроив голос на высокий лад, зачитал: — Смысл нареченья зело пригож... ибо разумеет собой... песно... песноводи... теля... во славу господню. А составлено сие имя... как всякое зерно... из двух равно... равновеликих долей благозвучнаго грецкаго речения... в коем одна доля «хор» означает совместное песнопение... тогда как другая доля «про»... на оном наречии понимается как старший... А совместно сии доли... воссоединясь в оное имя... означают старшаго над хором, запевнаго человека... сиречь запевалу.

И опять дедушко Селиван поучительно воздел палец:

— Запевный человек! Ну дак ясно, Прошка наш во славу божию песен не поет, он партейный, книга-то не нонешняя, не теперь написанная. Но суть совпадает — запевала! Всей усвятской жизни голова!

— Н-да! — удивились мужики. — А гляди ты, верно ведь!

— А ну-ка, Селиван Степаныч, — заинтересовался Леха. — Читани-кось, чего там про меня сказано?

— Дак и про тебя пошукаю. Сичас и про Лексея...

Дедушко Селиван снова потеребил страницы, поперекладывал их туда-сюда и, отыскав нужное место, сперва побубнил про себя, а потом уж дал короткое разъяснение:

— Про тебя, милок, тут такое сказано, што Алексий — это вроде как защитник. Так вот и написано: заступник отечества, всех страждущих, слабых и малолетних, всех человеков и тварей божиих.

— Ишь ты! — Никола Зяблов восхищенно посмотрел на Махотина. — И Леха наш, оказывается, в большом звании. Гляди-кось: защитник отечества! Высо-о-окая, Лексей, у тебя должность!

Махотин остался доволен таким истолкованием.

— Дак теперь давай и про Зяблова, — засмеялся он. — Кто есть таков? А то вместе пьем-курим, а что за прыщ — не знамо.

— Вот и про Николу... А Никола у нас... — готовно провозгласил дедушко Селиван. — Никола, стало быть, так: победитель! Во как!

Мужики поворотились к Николе Зяблову, сидевшему босо и без рубахи.

— Ух ты, едрит тя в кадушку с обручами! Вот это дак Никола! Вот это дак чин!

— Что ж ты, Никола, в Усвятах-то ошиваешься? — пуще всех хохотал Давыдко. — Тебе бы в портупеях ходить, а ты доси в одной майке бегаешь.

— Ладно вам, — конфузливо осерчал Зяблов. — Шутейное это все. Для смеху писано.

— А может, и не шутейное. Вон про нашего Прохор Ваныча в самую точку. Как влито. Поди, старые люди чегой-то да кумекали, когда писали.

Прочитали и про Афоню-кузнеца, и выходило по-писаному, что и Афоня не просто так, как ежели б какой лопух на огороде, а тоже назван куда с добром: не боящийся смерти! И уже как-то иначе поглядели мужики на обширные Афонины плечи, на вросшую в них сухожильными кореньями быковатую шею. Кто ж его знает, может, его и взаправду никакая поруха не возьмет...

— Не-е, братцы! Чтой-то в этой книжице есть! — блестя глазами, воскликнул Леха. — Видать, не с бухты-барахты писана. Дак и так рассудить: человек зачем-то да родится. Не токмо за сарай бегать. Небось потому и прозвище ему дается с понятием, чтоб, стало быть, направить его на что-то такое, окромя пустого счета дням...

Мужики один за другим потянулись к невиданной книге. Обтерев о штаны лопатистые ладони, глянцевевшие мозольно-сухой кожей, в застарелых, набитых землей трещинах, от которых не могли распрямляться полностью, а лишь складывались пальцами в присогнутые ковши, они бережно и неловко брали книгу обеими руками под кожаный испод, как принимали по вечерам, придя с работы, грудного младенца, не научившегося еще держать головы. И так же бережно, с почтительной предосторожностью, опасаясь учинить поруху, сделать что-нибудь не так, перекладывали ее алтарно пахнущие листы, вглядываясь в причудливо-кружевные заглавные буквицы, расцвеченные киноварью и озеленевшей позолотой. И даже пытались сами разобрать и постичь мудреные строки, но, пошевелив сосредоточенно и напряженно губами и произнеся раздумчиво-протяжное «и-да-а...», охранно передавали ее другому. Было диковинно оттого, что их имена, все эти Алексеи и Николы, Афони и Касьяны, такие привычные и обыденные, ближе и ловчее всего подходившие к усвятскому бытию — к окрестным полям и займищам, осенним дождям и распутью, нескончаемой работной череде и незатейливым радостям, — оказывается, имели и другой, доселе неизнаемый смысл. И был в этом втором их смысле намек на иную судьбу, на иное предназначение, над чем хотя все и посмеялись, не веря, но про себя каждому сделалось неловко и скованно, как если бы на них наложили некую обязанность и негаданную докуку. Так бывало еще в детстве, когда матери, обрядив на праздник в новую рубаху, наказывали не мараться, блюсти себя в чистоте, и хотя на душе делалось радостно и приятно от этой обновы, но в то же время, бегая на народе, надо было все время помнить родительский наказ и часом не выпачкать рубаху. И теперь тоже мужики были негаданно озадачены этой обновой, иным значением своих расхожих имен, как будто все они были одеты в новые рубахи перед скорой дорогой и надо было там блюсти себя и не замараться.

— Ну дак, а ты ж кто таков, дедко Селиван? — блестя глазами, поинтересовался Леха. — Интересно!

— Дак про себе я уже знаю, давно вычитал.

— И как же тебя?

— А про меня тут, робятки, нехорошо...

— Не-е, давай уж читай. Ежли про всех, то и про себя давай.

— Оно про меня хоть и нехорошо, а тож верно сказано, — легко засмеялся дедушко Селиван. — Леший я. Лесной мохнарь.

— Ох ты! Это как же так?

— А вот эдак — Лешачий я Селиванка. В книге так истолковано, кабудто по-греческому, по-римскому ли «сельва» лес обозначает, дремотну чащобу. А Селиван — по-ихнему и есть, стало быть, лешак. Ну, да я и согласен. Потому, кто ж я есть иной, ежли жизня моя самая лешачья — брожу, блукаю, свово двора днями не знаю. Лешак я и есть козлоногий. Зеленомошник. Тоже и обо мне верно сказано. Значит, такова судьба.

— Дак что ж это получается? — подытожил Махотин. — Выходит, не один токмо Касьян, а и все мы тут шлемоносцы. Про кого не зачитывали, всем быть под шлемом.

— Дак и я б заодно! — весело объявил дедушко Селиван. — Хучь я и леший, изгой непутевый, да на своей же земле. А чево? Учить меня строю не надобно, опеть же ружейному артикулу. Этова я и доси не забыл, могу хучь сичас показать. Правда, бежать швыдко не побегу, врать не стану. А остальное солдатское сполнять еще смогу, истинное слово!

Был подходящий шутейный момент снова выпить по маленькой, и Давыдко, унюшливый

на такое, не упустил случая и тут же оделил всех из очередной сулейки.

— Ну, соколики, — Селиван поднял свою стопку, взмахнул ею сверху вниз, справа налево окрестя застольную тайную вечерю. — За шеломы ваши! Чтоб стоять им крепким заслоном. Свята та сторона, где пупок резан! А ить было время, сынки, когда воинство, на брань идучи, брало с собой пуповинки. Как охранный, клятвенный знак. Ну да выпейте, выпейте, подоспела минутка.

Выпив под доброе слово, заговорили про всякое разное, житейское, опять же про хлеб и сено, но Касьян, молчавший доселе, подал голос поперек общему разговору, спросил о том, что неотступно терзало его своей неизбежностью:

— А скажи, Селиван Степаныч... Все хочу спросить... Там ведь тово... убивать придется...

Дедушко Селиван перестал тискать деснами огуречное колечко, изумленно воскликнул:

— Вот те и на! Под шелом идет, а этова доси не знает. Да нешто там в бабки играются?

Касьян покраснел и опять пересунул под лавкой галошами.

— Да я тебя не про то хотел... Ты ж там бывал... Ну вот как... Самому доводилось ли? Чтоб саморучно?

Дедушко Селиван, силясь постичь суть невнятного вопроса, морщил лоб, сгонял с него складки к беззащитно-младенческому темени, подернутому редким ковыльным пушком, в то время как его бескровно-восковые пальцы машинально теребили хлебную корочку, и то, о чем спрашивал Касьян, никак не вязалось со всем его нынешним обликом: казалось, было нелепо спрашивать, мог ли дедушко Селиван когда-либо убить живого человека.

Но тот, взглянув ясно и безвинно, ответил без особого душевного усилия:

— Было, Касьянка, было... Было и саморучно. Там, братка, за себя Паленого не позовешь... Самому надо... Вот пойдете — всем доведется.

Мужики враз принялись сосать свои цигарки, окутывать себя дымом: когда в Усвятах кому-либо приспевала пора завалить кабана или, случалось, прикончить захворавшую скотину, почти все посылали за Акимом Паленым, обитавшим аж за четыре версты в Верхних Ставцах.

— Ну, и как ты его? Человек ведь...

— Ясно дело, с руками-ногами. Ну, да оно токмо сперва думается, что человек. А потом, как насмотришься всего, как покатится душа под гору, дак про то и не помнишь уже. И рук даже не вымоешь.

— Ужли не страшно?

— Правду сказать, то с почину токмо.

— И как же ты его? — теперь уже допытывался и Леха Махотин. — Самого первого?

— Эть, про чево завели! — не стерпел Никола Зяблов, но его тут же оборвали:

— Да погоди ты! Надо ж и про это знать. Не сено идешь косить. Да как же, дедко, было то?

— Ну, как было...

И дедушко Селиван начал припоминать.

Оказывается, в японскую стрелять ему не довелось: числился он тогда по-плотницки, наводил мосты, строил укрытия, а больше ладил гробы для господ офицеров. Вместе с артелью изготовил он этих домовин великое множество, навидался всякого, но самому замараться о человека не пришлось. А в первый раз случилось это уже в четырнадцатом, в Карпатах.

— Ну, как было... Определили нас на первую позицию. Под Самбором. Еще и немца живого никто не видел, токо-токо с эшелону. И вот утречком начал он по нас метать шрапнели. Ну, бабахает, ну, бабахает! Накидал в небо баранов, напятнал черным, и вот пошел он на нас. Одна цепь, да другая. Пока бил шрапнелью, сидели мы по блиндажам да по печуркам, а тут высыпали к брустеру, изготовились, таимся, глядим через глину, каков он из себя, немец-то. Враг-то враг, а любопытно. А они идут, идут молча, одни ихние офицеры што-то непонятное курлыкают. Идут не густо, аршин этак на десять друг от дружки. Шинелки мышастые, за спинами вьюки, иные очками посверкивают. Покидали мы недокуренные цигарки, припали к прикладам, правим стволы навстречу. Надо бы уж и палять, а то вот они, близко, саженей на триста подошли. А ротмистр наш Войцехович все не велит, все травку кусает: нехай, дескать, подступятся поближче. Да куда ж еще-то? Их небось рота, а нас вполовину мене. Но дело не в роте, а то сказать, што не знамо по какой причине напал на меня колотун. Пот с меня градом, глаза выедает, а я зубом на зуб не попаду. Я уж и к земле жмусь, штоб остановиться, и руки мои онемели винтовку тискать, в плечо давить — ничего не помогает. И не новичок я был, штоб так-то пужаться, японскую повидал, а вот затрясло меня всево, хуже лихоманки. Не то штобы немца боязно, не-е: пока я в окопе, он мне ничего не сделает, да и не один я сижу — и пулемет с нами, а было мне страшно самово себя, подступавшей минуты: как же я по живому человеку палить-то буду? Издаля еще б ладно: попал не попал, твоя ли пуля угодила али соседская — издаля не понять бы. А тут вот они — уж и пуговицы сосчитать можно. А командир все молчит, держит характер, не отдает команды — и вовсе казнит меня. И гляжу я, в самый раз на меня метит долгущий худобный немец. И вроде бы даже глядит в мое место. Шинелка на нем куцая, неладко

так ремнем спеленутая, а голова маленькая, гусячья, и камилавка на оттопыренных ушах — большой вроде бы немец, а какой-то не страшный. Кто там идет справа, кто слева — не вижу, не гляжу, а приковало меня токмо к одному этому немчину. Лицо бледное, губы зажал, поди, сам в испуге. Ну дак ясно дело, на окоп в рост итить — как не бояться? И тут они побежали на нас. Войцехович выхватил леворвер, закричал «пли», харкнули встречь немцам винтовки, зататакал на краю наш пулемет. А я, как окаменел, все не стреляю, тяну минуту, а минуты этой уж и ничево не осталось. Да упади ж ты, проклятущий, молю я ево, али отверни в сторону, не беги на меня. Вот же щас, щас по тебе вдарю! А тут уж кругом крик, пальба, гранаты фукают... Велики были впереди Карпатские горы, полнеба застили, а немец набежал — и того выше, загородил собой все поднебесье. Восстал он надо мной и замахнулся по мне прикладом. Господи Иисусе, видишь сам... — только и помолился, да и дванул на крючок, ударил в самые ево пуговицы... Открыл глаза, немца как не бывало, токмо камилавка ево в окопе моем под сапогами... Тут наши начали выскакивать наверх, зашумели «ура», а я хоть и полез вместе со всеми, а ничево не соображаю, кто тут и што. Бей меня, коли в эту пору — бесчувствен я, вот как все во мне запеклось. Нуте: вылез я на бруствер, еще не встал даже, еще руками опираюсь, гляжу — а он вот он, иавзнич лежит за окопной глиной. Без шапки, голова подломилася, припала ухом к погону. А глаза настежь, стылым оловом... Бегу потом, догоняю своих, а в голове бухает: мой это лежит, моя работа...

Дедушко Селиван пристально поглядел на свои руки и убрал их со стола:

— Я дак три дня опосля ничево не мог исты. Все старался подальше от людей держаться. Али работать напрашивался, штоб поуморнстей. Ну, а потом обтерпелся, потвердел духом, да и пошло, наладилось дело. Особливо когда сам раз да другой в атаку сходил. Самое главное, робятки, это поле перебежать, до ихиих окопов добраться. В поле немец дюже жарко палит. А перебег — тут уж наш верх. В лютости, в рукопашной, ежли сам не свой, дак и убьешь — не почуется. Все одно, что в драке улица на улицу. Огрел ево, а куда угодил, чево раскроил — разглядывать некогда. Гадко токмо, когда штыком повыше брюха в грудную кость гвозданешь. Потом дергать приходится, сам не сымается. Это гадко...

— Ох, братцы! — невольно содрогнулся Никола Зяблов. — А ну, — как и мы в пехоту? Да так-то вот тоже...

— А куда ж еще? — обернулся Давыдко.

— Да хоть бы в кавалерию. И то получше. Там хоть штыком пырять не придется.

— Не пырять, дак зато напополам рубить. Шашку дают небось не кашу ковырять.

— Послушать, — Афоня-кузнец кашлянул в черную пятерню, — дак вам такую б войну, штоб и курицу не ушибить.

— А тебе-то самому какову надобио? — удивленно обернулся Никола. — По мне не умирать — убивать страшно. Али сам не такой?

Афоня-кузнец тяжело повел опущенной головой и, не глядя на Николу, глухо проговорил:

— Россия вон гинет. Немец идет, душегубничает, малых детей и тех не щадит...

— Ну дак кто ж про то не думает? — потупился Зяблов... — Уж и думки за думки зашли. Завтра вот сберемся и пойдем...

И опять воцарилась затяжная немота. Низкое, уже завечеревшее солнце ударило в дворовое окно, высветило застолье, махорочные разводы над кудлатыми головами, не раз ерошенными и скороженными за долгий день. И как и давеча, в смутную минуту, дедушко Селиван, встряхнувшись, попытался отвлечь мужиков песней, затеяв ее с тем умыслом, что остальные подхватят и подпоют:

> Собирался Васильюшко,
> Ой да собирался в охотушку-у,
> Ой да в охоту-охотушку,
> Тяжелую работушку-у...

Мужики, однако, оставили песню без внимания: хоть и было выпито довольно, но хмель нынче не брал, не доходил до души так, чтобы позвать на песню. И хозяин, погасив затею, конфузливо обронил:

— Нет, дак и нет. Не поется, дак и не свищется. Беду-горе не обманешь... Да и то сказать: боялся серп о бодяк зубья сломать, не пробовавши... А испробовал, дак и бодяк — трава.

9

Домой Касьян возвращался уже потемну. Как всегда, Давыдко потом взгоношился еще бежать за выпивкой, долго блукал по деревне, однако водкой не разжился, а добыл у кого-то полведра теплой еще, бурливой бражки. Проснувшийся Кузьма, мятый, с похмельно заплывшими глазами, завидев ведро, молча облапил его и, тяжко кряхтя и постанывая, принялся сосать прямо через край. Мужики остались досиживать, дожидаться дна у ведерка, а Касьян, опростав пару стаканов этого ласково-вкрадчивого снадобья, вскоре как-то сразу огруз и, выйдя во двор до ветру, больше не вернулся к столу. Запоздалое чувство виноватости перед Натахой оттого, что из двух оставшихся вольных дней один уже без толку извел на стороне, накатило на него, пока он

слепо тыкался в чужом, незнакомом дворе, ища выход на улицу. От всего, что было там, в прокуренной Селивановой избе, в голове тупо погудывало, и на душе не было лада. Больше всего из говоренного и услышанного прикипело к нему это несуразное слово «шлемоносец», давившее его почти осязаемой тяжестью, будто и в самом деле нес он на себе тесный стальной колпак, туго стиснувший виски.

— Напишут тоже... — бормотал он, досадливо сплевывая, отмахиваясь от навязчивого прозвища, как бы пытаясь сбросить с себя эту неприязненную ношу. — Ни к чему это... Детей токмо стращать.

Он свернул в какой-то редко им хоженный переулок, соединявший обе улицы. Под навесшими ракитами сделалось кромешно темно, как в набитом овине. Разросшийся вдоль изгороди брезентово-жесткий чертополох поосиному жалил сквозь штаны и рубаху, и он ступал ощупью, будто слепой, простерев вперед руки, ограждая глаза от колюк и случайного древесного сучка. Где-то на середине проулка Касьян запнулся о спекшиеся колчи, натоптанные скотиной, постыдно загремел, распорол на спине рубаху, потерял галошу и потом, чертыхаясь, долго елозил на четвереньках, лапал вокруг себя, хватая комья и обстрекиваясь о крапиву. И тут он, враз обдавшись жаром, вспомнил о повестке и с озабоченным испугом сунул руку за пагольник: цела ли? Нога привыкла к колкой поначалу бумажке, свернутой вчетверо, да и сама бумажка обмякла, пригрелась за чулком, так что Касьян совсем было забыл о ней. Повестка, однако, оказалась на месте и по-прежнему облегала лодыжку повыше щиколотки. Пальцы сторожко коснулись и ощупали ее, как недавно притихшую болячку. Касьян хотел было переложить извещение в карман штанов, но хранить в кармане показалось ненадежным, и он только пересунул поладнее, чтобы ощущать присутствие бумаги новым, необтерпевшимся местом. Повестка, и верно, теперь хорошо чуялась, и он, отыскав галошу, побрел дальше сквозь колючник и лопушье, ступая той ногой с охранной бережливостью, даже невольно прихрамывая ее, будто намуленную водянкой.

С облегчением наконец Касьян выбрался из пыльной духоты проулка на вольный простор староусвятского посада. Улица была уже безлюдна, и он прошел до самого дома, не встретив ни души. Чувствуя, что нехорошо пьян, Касьян не осмелился сразу явиться в избу, а, давая себе остыть, прибраться душой, присел под окнами на угол колодца, откуда, из черного нутра земли, по замшелому стволу тянуло ознобливым холодком.

В заречье проступила иссиня-красная, в каких-то червоточинах и прожилках ущербная луна, клочковато оборванная, окромсанная с одного края. Касьян, забывшись, исподлобья глядел, как она натужно выпутывалась из сизой наволочи, скопившейся за долгий знойный день на краю неба, подобно тому как сбивается под ветром ряска в дальний угол зацвелой калюжины. Пробив эту хмарь, луна багрово зависла в лугах и почему-то казалась Касьяну куском парного легкого, с которого, сочась, по каплям, натекла под ним красноватая лужа речной излучины. Сквозь застойную духоту, без звезд и светлого разлива, сопутствующих прохладным росным ночам, луна цедила на деревню какой-то хворый, немощный свет. С ее появлением в угомонившихся было дворах собаки, будто и впрямь на лакомый кусок, подняли заливистый тявк и брех, тоскливо отдававшийся в безголосой и беспредельной ночи. И в этот брех глухо, словно со дна глубокого погреба, временами вплетался низкий, с оборванно-сиплым концом вой какой-то большой и старой собаки. Должно быть, выл на цепи махотинский кобель...

Колодезное ведро черным колпаком висело над Касьяновой головой, он даже вздрогнул, увидев его сызнова, но, сообразив, что это обыкновенная бадейка, устыженно сплюнул и мотнул головой, как бы стряхивая дурноту:

— Пьян, пьян ты, Касьяшка... Ох и пьян, шлемо-но-сец!

Приподнявшись, он изловил болтавшийся поводок, притянул к себе ведерко и, остерегаясь греметь им под окнами, опустил в глухую, без проблесков, дыру колодца. Вода была ледяная, отдавала сладцой, словно бы ее подсахарили, и он долго похмельно глотал через край, испепеляя нутро отрезвляющим холодом, а потом сунулся головой в бадью и выдержал себя так, сколько терпелось. Отпустив ведро, неслышно отлетевшее в небо, он постоял, накреняясь, выжидая, пока сбежит с головы вода, затем крепко вытерся подолом рубахи и самодельным кленовым гребешком старательно прибрал волосы. Касьяну заметно полегчало, и даже непроизвольно вырвался глубокий вздох, будто он вынырнул из какого-то удушливого сна. Он достал опустевший кисет, наскреб на тощую цигарку и бережливо закурил, жалея истраченный день и думая, что лучше бы он нарубил себе свежего табаку в дорогу.

Тем временем луна заметно отбежала от горизонта, очистилась и, ровно бы тоже умывшись, ясно позолотела. Собаки как-то сами собой незаметно попримолкли, залегли по дворам, и в самой деревне и окрест нее обрелась чуткая полуночная тишина.

Умиротворенно покуривая, приходя в себя, Касьян слушал луга, привычно ловя табун: тяжелый ли переступ стреноженных маток, звякавших цепным путом, бубенчатые ли голоса сосунков, шершаво ли хриплые окрики напарника Матвея Лобова, которые по обыкновению

в его ночной черед вместе с дурными матерками и ружейным бабаханьем кнута долетали аж до Усвят. Но луга были опустошело-немы, не виделось и привычного костерка на берегу Остомли, и Касьян затревожился, не понимая, в чем дело, куда девались кони: ужли не выгнал, шельмец? Утром Лобов пришел на дежурство ко времени, был, как говорится, свят и умыт, сразу забрал дегтярку и отправился готовить телеги к наряду, все шло, как обычно, и вот, оказывается, не выгнал... Мелькнула мысль сходить на конюшню, узнать, как там и что, какого дьявола Матюха оставил лошадей томиться об эту пору без пастьбы. Небось не дождь, не осень, чтоб держать их взаперти. Но на конюшню надо было идти опять через всю деревню, и он, редко бывавший так пьян, устыдился порванной рубахи и всей этой своей расхристанности.

— Ладно, теперь не набегаешься. Завтра последний денек, — остановил он себя, но тут же вспомнил, что как раз завтра ему бы и заступать, а вечером гнать в ночное. И оттого, что завтра он уже не пойдет — когда ж идти, если сумку укладывать надо, — его проняло тоскливым ощущением близкого исхода: рвались последние ниточки, привязывавшие к деревне, к привычным делам. Все, отходился, отконюховал. Дак и Лобов, поди, тоже получил повестку. Это ж наверняка получил, раз не выгнал в ночное. Как же оно тут будет, если так вот все бросим? Война с ее огнем далеко, но уже здесь, в Усвятах, от ее громыхания сотрясалась и отваливалась целыми пластами отлаженная жизнь: невесть на кого оставлялась скотина, бросалась неприбранная земля, хлеба только завосковели, а уж располовинили трактора, угнали самую главную гусеничную силу. И Афоня-кузнец тоже вон загасил свое горнило... Беда-а!

Все еще колеблясь, сходить или не сходить на конный двор, — одна минута заскочить домой, набросить пиджак, обуть сапоги, — Касьян покосился на окна своей избы и только теперь прозрело уловил в крайнем оконце тусклый прожелтень каганца, доходивший из кухни. По этому терпеливому, как лампада, язычку пламени Касьян понял, что его уже давно заждались дома. Может, уже спят и мать, и Натаха, и тем паче Сергунок с Митюнькой, но фитилек этот, оставленный на припечке, зажжен был караулить и освещать его возвращение.

«Знает или не знает Натаха?» — подумал он о повестке и, озираясь на окна, неслышно приоткрыл калитку.

Всего день не побывал дома Касьян, но, войдя, не узнал своего двора и, как чужой, замер у порога, даже не притворив за собой дверь, а так и удерживая в руке скобу: двор остановил его неожиданной белизной, будто был завален по самые застрехи снежными сугробами. Но, оборов эту внезапность, он сообразил, что путь ему перегородили заборы выстиранного белья.

— Поразвесили... — неприязненно буркнул Касьян. — Дней, што ли, не будет? Вот уйду, дак и стирали б...

Он и прежде не любил вот таких повальных стирок, когда вдоль и поперек опутывали двор, запирали скотину и птицу, и нельзя было лишний раз шагнуть ни к верстаку, ни к амбару. Касьян не терпел попусту околачиваться в избе и — погода, непогода — всегда находил себе дело по двору. Но то случалось перед большими праздниками, бабы сновали туда-сюда радостно-озабоченные, и он, чтобы не мешаться, сам, в предвкушении стола, терпеливо пересогал бабью затею в городчике: поливал гряды, подправлял плетень, обновлял колья, оплетку, — чем-нибудь да убивал время.

Облитое мертвенным светом луны, глядевшей через ворота, нынешнее белье в безлюдном ночном дворе полоснуло его догадкой, и он, так и оставшись у калитки, принялся обшаривать глазами веревки, простертые от сеней к амбару и от амбара к сеням, перебирая все эти скатерки, рушники, рядиушки, наволочки, простыни и прочее добро, — хотел и не хотел найти то главное белье, ради которого, наверно, и было все это затеяно. Неловко поднырнув под первую веревку, он все-таки отыскал его, как давеча в темном проулке, шарясь с озабоченной боязнью за чулком, нашел военкоматское извещение. То главное белье вперемежку с еще какими-то постирушками висело как раз посередине второго ряда, в самом центре двора, будто для него специально отвели это лучшее место: три нательные рубахи, трое подштанников и несколько лоскутов домотканых портянок...

Противясь всему этому, Касьян понуро уставился на свои уже просохшие, олубеневшие, словно распятые, бязевые нательники, которым отныне предназначалось невесть где и сколько сопутствовать ему в незнаемом. Все, конечно, было сделано правильно, как и следовало, завтра Натахе некогда будет с этим возиться, и все же Касьяна неприятно кольнуло от этой Натахиной расторопности, будто она заведомо, еще не зная, возьмут его или не возьмут, не видя еще повестки, выпроваживала его из дому.

— Куда столько портянок, — скользнул он взглядом по замашковым кускам. — Ладно б и пару.

Он еще раз оглядел свое белье и вдруг распознал висевшие меж ним детские вещицы. Это были Митюнькины и Сергунковы штанишки, те самые, которые Натаха сшила к покосному празднику. Крошечные, жалкие от своей странной измятости и ссохлости, с лопоухо вывороченными карманами, с немастными пугови-

цами иа шириниках, они теснились и беззащитно льиули к его аршинной рубахе: Сергуиковы — к левому рукаву, Митюнькины — к правому, словио бы хотели в последний раз побыть рядом с отцовской одежей. Для сторонниего глаза ие было в том иичего особенного — висят тряпки, ну и ладно, какая разница, как нх ии развесь. Но Касьяну давно известны все эти Натахины дотошности. Все-то она старается сделать со своим распорядком: щей в обед и тех не иальет как попало, а сперва обязательно Касьяну, потом непременно старшенькому, после него Митюньке, затем свекрови, а тогда уж себе плеснет, что останется. И в том, как нынче было определено каждой вещи свое место на веревке — его, Касьяиово, вместе с детским, — он, теплея душой и полнясь щемящей жалостью к Натахе и особеино к ребятишкам, теперь уловил этот ее тайный умысел и понимание предопределенного часа: посчитала бы дурной приметой развесить все это по разным местам, разлучить отца с ребятишками...

«Ужли, сказывают, и детей не щадят? — вспомиил Касьяи разговор, обдергивая и расправляя Митюнькиины штаиишки. — Детишекто за што? За такое, конешно... Сволочи».

Каганец испуганно отпрянул и заметался иа припечке, когда Касьян приоткрыл дверь. Кухня всколыхнулась и заходила зыбкими сумеречными теиями, ио вскоре светильце, будто призиав хозяина, опять успокоилось, выстоялось ровным желтым огоньком, похожим на тыквеиное семечко. И здесь, как и во дворе, пока Касьян отсутствовал, иагромоздились перемены. Даже по одному кухонному духу чуялось, какие тут нынче раскручивались и вертелись жериова: густо, испарио отдавало хмельной кислотцой ржаного теста, мокрыми куриными перьями, толчеиым горохом, каленым подом простывающей печи, иа которую все еще ие отваживались садиться налетевшие за день мухи. Стол и лавки были захламлены чугунками и полумисками, свекольиой ботвой, надерганной прозрачно-желтой иезрелой морквушкой и невесть еще чем. На посудиом сундуке у окна громоздилась дежа, укрытая старым ватником, а рядом с ней иа лопушках зябко ежились два раздетых и обезглавлеиных куриных тельца, тогда как сами головки, еще в пере, в бледно-малиновых гребнях, с темными карандашиками обрубленных шей, торчавших из белых воротнньчков, лежали иа подокоинике. Все это, содеяниое без иего, мимолетно было увидено Касьяном, когда он первым делом сунулся поискать в висевшей одежке чего-нибудь закурить. И как часто это бывает, когда хочешь сделать неслышно, непремеино что-нибудь заденешь и нашумишь, так и тут вышло: потянувшись в карман пиджака, Касьян уроиил колодчик рубленых дров, и те посыпались и раскатились гулко по половицам.

— Ты, што лн? — послышался нз темного запечья материи слабый, слипшийся голос.

— Я, а то кто ж, — отозвался Касьян, подбирая полешки. Лозовые дровца были сечены неумело, ие в один взмах топора, как делал это сам Касьян, и опять устыдясь своей праздной отлучки, по этим жеваным, намучеиным дровяным коицам узнал Сергункою неловкое радеиие.

— Там, на загнетке, щицы, поешь.

— Не хочу, мать, — отказался Касьян.

В запечье заскрипели пересохшие доскн, доиесся горестный вздох старого, иатруженного человека, и во сне томившегося какой-то одиой иеусыпной думой:

— Ох ты, осподи. Защити и помилуй.

Табаку нигде не сыскалось, за ним иадо было идти в амбар, потрусить торбу, или же лезть иа чердак за сухим листом, и Касьян, пошарив по посуде и набредя иа остатки кваса в каком-то глечике, утешился этой нагревшейся осадной жижей. Потом, оставив галоши и сбросив подраиную рубаху, в одной майке прошел в гориицу.

Луна выстлала голубой холодный квадрат иа полу, прихватила светом кусок ситцевой заиавески, делившей горницу на две половины. В той, заиавешенной ее части, в кутиике, стояла его с Натахой самодельная деревянная кровать с резаной одоленью на головных досках, а минуя ее, в глубине, за печным выступом, были сооружены простоðные полати для ребятишек.

Касьяи легонько, иеслышно отстранил заиавеску: лунный свет выбелил за ней Натахиио лицо, повериутое к нему, обездвижеиное первым изморивым забытьем, с безвольно разомкиутыми губами.

В топленой избяной заперти было душно, и она, скинув с себя во сие холстииковую простыню, лежала иа боку, подобрав колени, оберегая ими живот, мягко оплывший, как сырой неиспечеиный хлебный колоб, обтяиутый тесиой сорочкой. Касьян, кинув взгляд иа детские полати, где, сраженно пав, разметав руки, спали голопопые ребятишки, широко раскатившиеся друг от друга, подсел иа край Натахиной кровати.

— Нат, а Нат... — поклнкал он сторожким шепотом. — Слышь-ка.

Натаха дрогнула надбровьем, подобрала губы.

— Это я... — прошептал он, следя за ее ожнвающими, но все еще притворениыми глазами.

Разняв веки, оиа молча отмаргивалась от луиного света, иаверно еще не видя Касьяиа, а только чувствуя его где-то поблизостн.

— Окна бы открыла. Жарко в избе, — проговорил ои, наводя подход к разговору. — А то шла бы в саии, иа свежий воздушок...

Та промолчала, безучастно глядя мимо него в окно, на луну, и Касьян по одному этому ее взгляду понял, что не принят, что виноват, придирчиво усмехнулся:

— Али радость какая — приборку устроили? По двору не пройтить.

Натахины губы вздрогнули, она бегло, замкнуто стрельнула в Касьяна сузившимися зрачками и, опять ничего не ответив, натянула на себя простыню, как перед чужим.

Касьян, тоже обидевшись, замолчал.

Было отступивший хмель, когда он сидел у колодца, здесь, в жарко натопленной избе, вновь взыграл тошнотной мутью, и он прикрыл глаза и даже ухватился за край кровати, когда его вдруг куда-то повело вкрадчивым, все убыстряющимся кружевом, будто он сидел на плоско вращающемся колесе. Мокрые волосы, принесшие ему облегчение, теперь теплой слипшейся обмазкой неприятно обволакивали голову.

— А я тово... вишь, выпил, — повинился он, когда колесо отпустило его своим вращением.

Он опять помолчал, ожидая, что скажет на это Натаха, но та лишь оглядела его, смигивая неведомые ему мысли припухшими веками.

— Пьяный я, Наталья... Водку пил, бражку... что попадя. Дак а куда было деться? Вот, погляди...

Касьян, неловко креня̀сь, нагнулся к чулку, поискал бумажку.

— Вот она! Клавка безносая! — усмехнулся он и старательно расправил бумажку на коленке. — Хошь поглядеть? Ранняя дорога, казенный дом... Все тут прописано. Послезавтра явиться с ложкой и котелком. Ну дак ложка у меня имеется, а котелка нема... Что будем делать?

И опять не получив ответа, осторожно, опасливо покосился на жену. Взглянул — и прикусил разбухший, непослушный язык: Натаха, закрывшись ладонью, тихо, беззвучно плакала, всколыхиваясь большим, размягченным телом.

— Плачь не плачь теперь, не поможешь, — проговорил он, силясь разглядеть при лунном свете чернильную военкоматскую печать. — Во, вишь, припечатано! Все как следует.

Ему было муторно слышать, как Натаха вгоняла в себя плач, не пускала наружу, и тот гулькал в ней давкой икотой.

— А мне еще утром прислали. На, говорит, распишись в получении. Да все не хотел тебе говорить. Реветь возьмешься. Не люблю я этого... А ты, вишь, все одно ревешь...

— Ох! — отпустила себя Натаха тяжким смиряющим вздохом.

— Али знала уже? Гляжу, курицы порубаны.

— Да что ж тут знать? — давя всхлип, выговорила она. — Загодя знато.

— Ну, будя реветь. Не один я. Поди, из каждого двора. Афоня уж на што нужон, могли бы и погодить с ним, а тоже идет.

— Ты-то пойдешь не один, да ты-то у нас один.

— Ну, да что толковать. Жил? Жил! Семью, детей нажил? Нажил! Вон они лежат, кашееды. Да с тобой третий. Нажил — стало быть, иди обороняй. А кто ж за тебя станет? Не скажешь же Лехе: на тебе трояк або пятерку, пойди повоюй за меня! Не скажешь.

Касьян, тяжело ворочая мыслью, говорил это не только Натахе, но и самому себе, в чем и сам тоже нуждался в эту минуту.

Они помолчали, и Касьян уже сам про себя думал, вспоминая о том, что говорили за Селивановым столом, — как походя лютует немец, палит все огнем, не щадит ни малого, ни старого.

— Оно ить как, — сказал он то ли себе, то ли Натахе. — Хоть червяка взять. Который на дерева нападает. Ко времени не устерег, не сдержал, гадость эта вон уже где, новые ветки кутляет...

— Кабы б червь беспонятный, — уже ровнее выговорила Натаха. — А то ж люди на людей идут. Им-то чего бы? Вон какие страсти друг против друга понавыдумывали — аропланы да бомбы.

— Бомбы не бомбы, а итить все одно надо, раз уж такое взнялось.

— Ну дак али я беды не понимаю? А токмо... Ох, Кося! Небось не жалезные вы супротив-то бомб да снарядов. Одной рубахой прикрытые.

— А то не жалезный! — безголосо посмеялся Касьян, переводя разговор на шутку. — Еще какой жалезный! Ну-кось, подвинься, скажу, чего про меня дедко-то Селиван вычитал...

Натаха тяжело отползла к стене, и Касьян, обрадовавшись примирению, прилег рядом. От этого его, однако, опять закружило, и он, крепясь, сцепив зубы, притих.

— Отчего мокрый-то? — спросила Натаха, оглядывая его сбоку, против луны.

— А-а... пустое... Голову мочил... Дак слышь чего... — уже через силу, преодолевая тошноту, выдавил Касьян. — Читал дедко, будто у меня два прозвища.

— Как это?

— Не то чтобы два. Одно и есть... Вроде как на монете. На одной стороне решка — пятак, а на другой — орел.

— Кто же тебе такую цену положил — пятак?

— Ну, это я к слову, чтоб поняла.

— Так уж и поняла.

— По-простому я, стало быть, Касьян, да?

— А кто же ты еще?

— ...а по-писаному вовсе не Касьян.

— А и правда, много ныче выпил,— первый раз усмехнулась Натаха.— Я,подн, за Касьяна выходила. Иди-ка ты, Кося, к себе. Ты совсем спишь. Вои и глаза не глядят.

— Это я так... Полежу малеиько.

— Дак и кто же ты по-писаиому-то?

— А-а! — протянул Касьян, не размыкая глаз. — Дак вот пишут — шлемоиосец я! Звание мое такое.

— Чего, чего?

— Шлемоносец!

— Господи! Чего еще на себя плетешь?

— Ну... — Касьяи запнулся, не находя больше поясиеиня этому слову. — Ну... иа голову такую жалезную шапку дают. Чтоб ие ушибло. По ией саданут, а мие иичего.

— Ты его токмо слушай, балабола старого. Над тобой потешаются, а ты и рад.

— Книга у иего такая, старииных письмен. Я сам про себя читал. Будто мие от самого рожденья та шапка заготовлеиа. Я, к примеру, родился, живу, землю пашу или там еще чего делаю, ничего не зиаю, а она уже гдесь лежит.

— Дак и всякому мужику оиа заготоваиа. Долго ли войну кликать?

— Не-е!.. Ну... как это тебе сказать? Моя не такая. В ней я буду вроде как заговоренный.

Врал через силу, через тошиоту Касьян, утешал Натаху, уводнл ее от неиужных мыслей, как куропач уводнт от гнезда опасность, ио и сам хотел верить в такую свою чудодейственную шапку. Одиако Натаха иа все это только грустно вздохиула:

— Ох, Касьяи, Касьяи. Ровно бы младенец. И как-то ты там, иа войне, будешь... Уж чего тебе заготоваио, так вот оио...

Привстав на локоть, Натаха запустила руку под подушку, вытащила белый сверток.

— Может, что ие так,— скажешь: завтра переделаю.

Раскрыв отяжелевшие веки и все еще ие догадываясь, Касьян принялся расправлять на груди сверток, и тот развернулся холщовой сумкой, к углам которой была пришита обоимн коицамн долгая каламянковая лямка. Смутясь так, что жаром иалились уши, ои молча вертел перед собой и теребнл свой подорожный пещур, простерев его в лунном свете иа вытянутых руках к потолку. И Натаха, прижавшись виском к его плечу, подспудно двнгавшемуся жесткими желваками, шепотом поясняла:

— Сама, грешиая, шила. Не след было шить своими руками. Поди, ие положено?

— Почему — ие след? Я ж не покойннк...

— А мать и вовсе нитки не виднт. Да и того пуще от слез потухла б... Я и то от нее украдкой, чтоб не вндела.

— Ну-к что ж... — собравшись, как можно спокойнее проговорил Касьяи. — Это дело. Без сумки ие обойтись.

— Постромка не коротка ли?

— Сгодится. В самый раз... Ладный сидорок! Гляди ты: и буквы вышила! А их-то зачем?

— А так просто... Чтоб вспоминал...

— Вот, вишь, опять все руками. Так и не купили тебе машиики...

Чувство вины снова полоснуло Касьяна. Он отшвырнул, не глядя куда, сумку и потянул к себе Натаху, ища ее губы. Та отстраиилась, загородилась от него ладонью.

— Не надо, Кось.

— Чего ты...

— Отпусти, не надо.

— Ну Натах... — душио, пьяно зашептал он.

— Угомонись. Маленький у нас.

— Ну да и что... — бормотал он, сам себя не слыша.

— Боюсь я. Глянь ты какой дурной. Да и мать не спит.

— Ну пошли в сарайку.

— Нет, Касьян, нет... Боюсь.

— Ухожу ведь,— обиделся Касьяи.

— Нельзя так... Надо бы тебе не пить. За водкой и про меия забыл.

— Как же я помнить тебя буду? Там-то? На полгода, не меньше, а то и на весь год ухожу.

— Знаю, Кося, зиаю. Да разве одним этнм дом пòмнится? Вои дети твои спят. Их и помии. Тебя весь деиь ие было, а они намотались, иапомогались. И бураков надергали, и в погреб раз пять бегали, и куриц ловили. Сережа дак и дрова брался сечь, хекал-хекал, как старичок, самого топор перевешивает. А ему сколь еще всего без отца достанется. Мы-то с матерью теперь и куру ие споймаем: одна обезиожела, а я — квашня квашией.

— Табачку иигде близко нету? — отвернувшись, сказал Касьяи.

— А еще и земля вои ляжет иа бабьи руки,— продолжала свое Натаха. — Шутка ли, поле неоглядное. Хлеб, да бурак, да чертова уйма всего. Родится маленький и вовсе руки свяжет.

— Как назовешь-то? — спросил Касьян, опять нашарив отброшеиную сумку. — Не надумала?

— Надумала... Касьяиом и назову.

— Чегой-то? — удивился он и не сдержал смешка: — Опять шлемоносец?

— Не мели. Не знаю я иичего этого.

— Дак зачем еще Касьян-то?

— А чтоб слово в доме было. Ты уйдешь — и позвать так некого будет. А то вроде как ты опять с иами. Как и не уходил. А чем плохо: Косечка? А мне нравится. Пусть с этим растет.

— Под нову каску.

— Чего?

— Да это я так... Касьян дак Касьян. Может, и пригодится... У тебя нечего выпить? — спросил он, вставая.

— Куда ж тебе еще?

— Жалко, что ли? — сказал он, как-то отчуждаясь.

— Да мне не жалко. Вон у матери есть маленько на растирку. Выпей, если охота. Под печкою стоит.

— Ну, ладно... На нет и суда нет... Пошел я, раз такое дело. Натопили-то как.

10

Назначил себе Касьян встать в тот последний день пораньше, да не исполнилось: в сенной прохладе незаметно когда и как мертвецки провалился в небытие и проснулся, аж когда все щели уже сочились дымными, напористыми лучами позднего утра.

Мир уже давно жил без него, и Касьян слышал, как глухо, будто мельничный жернов, погромыхивал в избе рубель: должно быть, Натаха прокатывала вчерашнее белье; как отчего-то обиженно всхлипывал в сенях Митюнька, а под сарайным плетнем с озабоченной истомой квохтала клуша, сопровождаемая бисерным писком цыплят. И в неуемном кружении над подворьем ликующе чиликали, чиликали ласточки. От самого их прилета Касьян не затворял и наказывал другим не затворять сенника, дабы не препятствовать касаткам селиться под стропильной латвиной. Он любил прежде, вот так замерев, наблюдать, как с легким шелестом, доверчиво, будто в самую его душу, влетали птахи в дверной проем и повисали вильчатыми хвостами над головой, припав на мгновенье к отверстиям своих серых земляных жилищ. Гнезда тотчас откликались приглушенным звоном птенцов, ровно бы кто потряхивал над Касьяном глиняную кубышку с серебряными денежками. А когда мать-отец отлетали прочь, птенцы, уже пепельно-оперенные, с улыбчивым ярко-желтым ободом рта, поочередно высовывались из летка и с любопытством оглядывали подкрышную сутемь, еще не ведая, но уже предчувствуя, что где-то совсем близко есть воля, небо и солнце. Это рассветное снование ласточек в прежние дни всегда зарождало в Касьяне легкое и радостное ощущение начала дня и потребность какого-нибудь дела.

Спал он от самых майских праздников в сеннике, на старых розвальнях. Сани эти, уже давно без оглобель, с выпавшими через один копыльями, остались дома еще от коллективизации, и за ветхой ненадобностью он приспособил их под летнее спанье, глубокое и уютное, как большое гнездовье, где, укрывшись попоной, а ближе к осени — и полушубком, вольготно было почти до самых зазимков. В череде таких ночей, уже после того, как все угомонятся в избе, несчетно раз наведывалась к нему Натаха пошептаться наедине от чуткой свекрови, и в этом гнезде, как в касаткиной лепнине, зачали свою жизнь Сергунок с Митюнькой, родившиеся потом оба, как по заказу, в аккурат по первой капели.

Последний раз Натаха была у него уже недели три назад: то он стал отлучаться в ночное, то она крутилась с огородами, начала уставать, совсем отяжелела, и все бы ничего, как-то стерпелось бы в обыденности до лучшей минуты, не о том была главная думка на десятом совместном году, кабы не это внезапное, оставившее Касьяну считанные дни. Сено в санях обновлять уже было не к чему, как делал он это всегда по троице, но Касьян, готовясь к прощанью, еще третьего дня все же вытряхнул слежалое старье, накосил по усадебному обмежью свежей цветастой травки, просушил незаметно, щедро настелил пахучую обнову и даже подмел в сарайке земляной пол: собирался на воле, без домашних свидетелей не спеша и обстоятельно обо всем обговорить с Натахой. И вчера, осознавая край своему времени, уже борясь с навалившейся дремой, несмотря на ее несогласие, все же чаял прихода Натахи, как последнего причастия, из остатних сил еще долго прислушивался к избе и подворью, не скрипнет ли сенечная дверь, не объявится ли в лунном квадрате растворенных ворот неслышная тень, как бывало то прежде.

Когда изменил ему слух и когда отключились глаза и сознание, Касьян не помнил и проснулся уже другим, отрешенным, с чувством какой-то ровной и облегчающей скорби, делавшей его нездешним, отошедшим куда-то, будто и на самом деле весь этот мир жил уже без него, а он, еще в нем присутствуя, все еще видя и слыша его, был вроде бы уже ничем к нему не причастен. Лежа в санях, он отстраненно, какими-то чужими глазами глядел на залетавших касаток, уже не будивших в нем никакого чувства, кроме ненужности их суеты, и даже плач Митюньки, на который он прежде непременно откликнулся бы внутренней болью и состраданием, тотчас вскочил бы, поспешил узнать причину и подхватил бы на руки, — даже этот плач его любимца доходил до него, как из прошлого, в которое он уже не мог вступить и вмешаться.

Его настоящим была теперь дорога, та, завтрашняя, с котомкой за плечами, о которой он все еще старался не думать, но острое чувство которой, пришедшее к нему уже во сне, что-то оборвавшее и переиначившее в нем, сонном, заполнило и подчинило себе все его существо.

И он, слушая это прошлое своего двора, мысленно уже шагая по дороге, узнавал и не узнавал голос Натахи, объявившейся на сенечном крыльце:

— Ты чего ревешь-то? Гляиь-кось, чумазый какой! Погоди, дай сюда нос... Ревешь-то чего?

Митюнька, икая, пожаловался:

— Да-а... Селезка сум... сумку ие дает...

— Какую такую сумку?

— Па... па-а-апкииу.

— Ах, ои нехороший какой! Мы ему зададим. Сережа!

Сергуиок, где-то затаясь, не отзывался.

— Сере-ежа!

— Мам, он за амбалом,— подсказал Митюнька.

— Ты чего ж прячешься? Не играешь с Митей?

— А чего он пыль в сумку насыпает,— отозвался Сергунок.— Я говорю, ие смей сыпать, папке с ией на войну итить. А ои, дуриой, сыпит.

— Слушай, Сережа,— нетерпеливо перебила Натаха.— Ты зиаешь, где дядя Никифор живет?

— Знаю. В Ситном он.

— Ага, в Ситиом. А как туда идти — зиаешь?

— Чего ж не зиать. Сколь с папкой бывали.

— Ну дак как же туда?

— А мимо конторы...

— Ну, мимо коиторы.

— А опосля лесок пройтить...

— Верио, лесок.

— А там лугом — и вот оно, Ситное.

— Слушай, сыика, сбегал бы ты к дяде Никифору, а?

— Один?

— Ну дак больше некому. Скажи, пусть к нам с тетей Катей приходят. Мол, папка иа войну уходит. Пусть седни и придут. Запомнил? Мол, на войну...

— Ага.

— Не заплутаешься? — беспокоилась Натаха.

— А то!

— Оттуда с ними прндешь.

— Ладно. Только можио я с папкиной сумкой?

— Не выдумывай!

— Ну, мам!

— Да иа что тебе сумка-то?

— А так... По нашей деревне пройду.

— Нешто ты побирушка — с сумкой-то ходить?

— Прямо! Она ж солдатская.

— Ох ты горе мое — солдатская! Еще иаиосишься. Ее вон и укладывать пора. Папка хватится, а сумки ие будет.

— А я швыдко.

— Ладно уж, бежи. Только давай я покороче ее подвяжу. Да хлебца с яичком положу. Бежать не близко.

— А я? — опять захныкал Митюнька.

— Нет, Митя, нет, маленький. Это ж вон как далеко. Не дойдешь ты.

— Дойду-у...

— Лучше я тебе курииую лапку дам. Хочешь лапку?

— Не-е! Не хоцю лапку. Хоцю папкину сумку-у...

— Ну, беда с вамн. То ли с медом оиа, сумка-то? С горем, а ие с медом... Вот Сережа сбегает, а тогда и ты поиосишь. Папка тебе и ремень свой даст поносить. И картуз. Во как славио-то будет! Обрядится иаш Митрий в ремеиь да в картуз — экий герой!

— Ну, мам, я побег! — готовно выкрикнул Сергунок.— Я скоком!

— Стой же ты, дай хлебца-то положу.

Спустя время хлопиула калитка, и Касьян слышал, как по-за плетием дробио застучали Сергунковы пятки.

— Ох ты, горюшко,— передохнула Натаха.— Все-то вам игра да потеха.

Вот уже и без него живут, опять как-то стороине подумал Касьяи, будто поглядывал за своими из ииого мира. Теперь достается Сергуику: дров иасеки, по воду сходи, корову пригони, за сеиом слазь, в магазин сбегай... А там картошку копать. Кому ж копать, как не ему. Матери не в пору, а бабке невмочь. Ему бы сапоги хорошие в осеиь, по работе и обувка должна бы... Эх, ничего не сделано, кругом иеуправа...

Касьян встал, натянул штаиы, ступил в галоши и, первым делом хватившись курева, вспомиил, что у него нет ии граммушки. Лаз на полати, где висел в пуках табак, шел из сеней, и он иаправился в избу. Во дворе уже ие висело ии белья, ни веревок, но в кухие было по-прежиему ералашио, как всегда перед большой стряпией. Печь уже пылала, роияя красноватые пляшущие блики на сутемные стены, лари и кухоииую утварь. В глубиие горницы, невидимая из сеией, опять взялась грохотать рубелем Натаха, что-то наговаривая Митюиьке.

Касьяи задержался в дверях, глядя, как мать, засучив рукава под самые подмышки, обнажив иссохшие, сквозившие сииевой руки, низко повязаниая платком, тискала кулаками тесто, и ее острые, шишковатые локти ходко мелькали по обе стороны узкой, сутуло выпиравшей спины, обтяиутой поскоииой землисто-серой кофтой. Время от времени она заморенио выпрямлялась, но, так до конца и не выпрямившись согбенной спиной, поочередно снимала с кистей, как рукавицы, белые шматы теста, шлепала ими в дежу, оскребала о край ладоии и, подцепив деревянный корец, подсыпала муки в медленио заплывавшие дыры, оставлеиные ее кулаками. Касьян давно ие видел мать за хлебом, уже непосильиа стала ей эта иелегкая справа — и обхаживать саму дежу, и тя-

гать против себя пятнадцатифунтовые колоба, чтобы потом ссадить их с деревянной лопаты в огнедышащей глубине печи, — все это неповоротное дело она передоверила невестке. Но нынче и Натахе было такое не по плечу, и вот, оказывается, мать, переступив через свои немочи, снова стала к загнетке. Ночью она, разломленная в поясице и во всех натруженных и намаянных суставах, будет тихо стонать в своем душном запечье, тщетно прилаживаться кострецами к немилосердному ложу, которое уже ничем нельзя умягчить, будет коекак перемогать до света растревоженную хворь, вздыхать упавшей грудью и молить бога прибрать ее поскорее. Но сейчас, понуждаемая неудержимо назревавшим тестом, пылающей печью, которые теперь уже не дадут ни роздыха, ни передышки, распалясь работой, разгоряченно, как в прежние свои годы, укрощала и тетешкала трехпудовую поставу, не думая, что будет с ней потом. И впалые ее щеки, иссеченные морщинами, пробил таившийся где-то прежде слабый румянец, а глаза заголубели, очистились от застаревшей наволочи, когда она обернулась к Касьяну, почуяв его присутствие. Сколько помнит себя Касьян, выпечка хлеба всегда была в их доме непреходящим событием, особенно перед сезонной страдой, а пуще — перед каким-нибудь праздником, когда затевался большой хлеб, сопровождаемый пирогами и ситниками. Встрепанная, выпачканная сажей, с уроненными меж колен вздувшимися руками, мать потом безвольно сидела на лавке рядом с бугрившимися на столе ковригами, укрытыми влажным рядном, источавшим парок и крепкий ржаной дух отдыхающего хлеба.

— К чему навела столько? — заметил Касьян, встретив возбужденный взгляд матери. — Будет тебе потом...

— Ну как же! — Мать запястьем пересунула платок повыше. — Идешь ведь...

— Махотиха, поди, тоже печет. Взяли бы взаймы покуда.

— Что ж с чужим-то хлебом? На такое со своим полагается идти. Свой в сумке полегче, попамятнее. Как же не испечь свеженького? Поешь в дороге моего хлебца. Спеку ли еще когда. Видать, последний это...

Она тихо, бесскорбно прослезилась, но тут же утерлась передником.

— Моя рука легкая была. Я ведь и отцу твоему пекла, когда еще на ту войну провожала. Ан цел пришел, невредимый.

И, приблизясь, с виноватой озабоченностью сказала:

— По-хорошему, дак надо бы хлебец-то в Ставцы сносить, окропить водицей. Да нести некому. Совсем обезножела я.

— Дак и не надо, — вяло сказал Касьян. — Не на всю войну хлеб. Покуда дойдем, весь и съестся.

— То-то, что не надо, — обиделась мать. — Вам, нонешним, ничего не надобно. Вон и Наталья без креста ходит, наперед не думает. Живете, кабудто век беде не бывать, непутевые. Ну, да уж ладно: слез моих в этом хлебе довольно замешано. Мобудь за святую водицу и сойдут, материнские-то слезы.

Она опять всхлипнула и отвернулась от Касьяна к своим делам.

А он еще постоял, потоптался в дверях в неловкости, понимая, что нечем ему утешить старушку.

...— А змей тот немецкий об трех головах, — доносился высокий распевный голос Натахи сквозь порывы деревянного рокота рубеля. — Из ноздрей огонь брызгает, из зеленых очей молоньи летят. Да только папка наш в железном шеломе, и рубаха на ем железная. Нипочем ему ни огонь, ни полымя. А тут вот они подоспели, и дядя Алексей Махотин, и дядя Николай Зяблов, и еще много наших. Кто с рогатиной, кто с вилами, а дядя Афоня дак и с молотом...

— А папка нас с ружьем! — ликовал Митюнька. — Как пальнет по змейским баскам, да, мам?

Касьян не стал мешать Натахиной сказке, отступил в сени. По жердяной стремянке поднялся на чердак за табаком. Махорка пересохла за зимнюю лежку, надо бы всю и помельчить по осени, да все недосуг было. Кто же знал, что так вот враз понадобится. Спустившись с беремком, Касьян нащипал на закур, а остальное сунул в кадку с водой и подвесил под сараем отволгнуть, чтобы под топором не крошилось кострикамн. И, жадно закурив из одного листа, укрылся на задах под вишенником подождать, пока подвешенный табак вберет в себя влагу и помягчает.

По солнцу было около десяти, но Усвяты — и Старые, и Новые — против обычного, еще не оттопились, в безветрии дружно дымили почти каждой трубой: везде затевали большие подорожные хлебы, стряпали прощальные столы. По Полевой улице уже сновал какой-то люд, бабы и старушки в белых платках, выряженные, несмотря на теплынь, в плюшевые полусачки и поддевы, брели чинно вдоль посада, придерживая за руку зевавших по сторонам детишек: видать, сходились гости. Возле Кузькиного двора стояла подвода с пегой, в рыжих заплатах нездешней лошаденкой. Касьян долго таился в тени вишенья, будто привязанный, и ему ничего и никого не хотелось.

Потом рубил он у себя под навесом табак в долбленом корытце, время от времени просевая крошево на самодельном жестяном сите. Рубил машинально, погрузясь в несвязные думы, в бесчувственное отсутствие, пока не подошла, не окликнула Натаха.

— Чего есть-то не идешь?

— Чтой-то не хочется, — буркнул Касьян.

Она подошла ближе, теплой ладонью взъерошила волосы. Касьян перестал тюкать, выжидал, не поднимая глаз. Ему были видны одни только Натахины босые ноги, заметно отекшие в щиколотках.

— Будя тебе, Сережа придет, досечет: Я его к Никифору послала. Ты бы, Кося, помылся, чистое надел, пока из Ситного придут. Мать воды нагрела.

— Ладно, успеется, — нехотя отозвался он.

— Да когда ж... Последний денек.

В Усвятах, как и во всем подстепье, бань не заводили, и потому мылись скупо, в корытах и лоханях, зимой — дома, наплескивая на полы, летом — в сарайках, и все это еще с самого детства засело как докучливая обуза.

— Я лучше на реку схожу, — сказал Касьян, откладывая топор.

— Сходи, сходи, — одобрила Натаха. — Там повольнее. И белье возьми чистое. Только вот накатала. Будет ли вам баня, а ты уже чистый пойдешь, прибраный.

11

Из дальних веков, запредельных для человеческой памяти, течет Остомля-река. От начала и до конца дней пересекает она собой жизнь каждого усвятца, никогда не примелькиваясь, а так и оставаясь пожизненной радостью и утехой.

Свою последнюю зиму доброй памяти Тимофей Лукич, достопочтимый Касьянов папаша, едва перемог в хвори и немочи. Отлежал он аж до новой травы и уже было запросил причастия, как внял над избой первый предмайский гром. Дождь пролился недолгий, но спорый, и старику, должно, было слышно в незадвинутую печную вьюшку, как обмывал он кровлю и саму трубу, как прокатывалось по небу вешнее разгульное громыхание. Слабым голосом, однако же и настойчиво, Тимофей Лукич потребовал снять его с истертых печных кирпичей и проводить на улицу. Касьян и Натаха обрядили его потеплее, вздели спадавшие катанки и — легкого, утонувшего в шапке — снесли в палисад, на уличную завалинку. Натаха втемеже ушла хлопотать свои хлопоты, а Касьян, которому хотя и тоже было недосуг, остался с отцом, придерживая его за плечи, боясь, как бы старику не закружило голову после избяной спертости. Из глубины овчинного ворота и насунутого треуха заслезившимися от непривычного света и вольной свежести глазами, замерев, уставился он в умытые дали и просидел так немо, ни о чем не спрашивая Касьяна, у которого уже и рука затекла поддерживать старика, и не терпелось вернуться к прерванному делу под навесом. Понимал Касьян, что никогда боле отцу не пересечь самому лугов, не посидеть на бережку Остомли, но и теперь, в последние свои деньки, старик тянулся туда неутоленной душой, все глядел и глядел в заветную речную сторону, хотя отсюда, с деревенской улицы, и не видать ему самой Остомли, кроме отрезка излучины в одном-разъединном месте. Уж казалось бы, что ему теперь эта излука, да и мало ли чего, кроме нее, видится в лугах, ан нет: время от времени туда-сюда повернет взглядом — на сбежавшую за лес нашумевшую тучу, на коров, на купы старых ив возле мельницы — и опять оборотится к дальнему взблеску воды и замрет, будто в дреме. Да и сам Касьян, бывало, ни на лес, ни даже на кормившее его хлебное поле не смотрел столь без устали, как гляделось ему на причудливые остомельские извивы, обозначенные где ивняком, где кудлатыми ветлами, а где полоской крутого обреза.

Вода сама по себе, даже если она в ведерке, — непознанное чудо. Когда же она и денно, и нощно бежит в берегах, то норовисто пластаясь тугой необоримой силой на перекатах, то степенясь и полнясь зеленоватой чернью у поворотных глин; когда то укрывается молочной наволочью тумана, под которой незримо и таинственно ухает вдруг взыгравшая рыбина, то кротко выстилается на вечернем предсонье чистейшим зеркалом, вбирая в себя все мироздание — от низко склонившейся тростинки камыша до замерших дремотно перистых облаков; когда в ночи окрест далеко слышно, как многозвучной звенью и наплеском срывается она с лотка на мельничное колесо, — тогда это уже не просто вода, а нечто еще более дивное и необъяснимое. И ни один остомельский житель не мог дать тому истолкованье, не находил, да и не пытался искать в себе никаких слов, а называл просто рекой, бессловесно и тихо нося в себе ощущение этого дива.

По весне взбухшая от талых снегов Остомля выплескивалась из берегов, подтопляла займище до самой суходольной дубравы, поднимала полой водой валежник, бурелом, старую зимнюю чащобную неразберіху, гнула и бодала уже набухший почками уремник, и бежало и плыло оттуда застигнутое большое и малое зверье до надежной тверди — уцелевших островов и обмысков. В левобережной же, усвятской, стороне воде и вовсе не было удержу, и она охватно разбегалась по всему лугу под самые огороды, на великую радость ребятишек. С Касьянова мальчишества и по сию пору, а до Касьяна — сколь стоят на этом юру Усвяты, вешний разгул Остомли всегда собирал к себе детвору, и не было радостнее в природе события, чем краткая, но звонкая пора ледохода, преисполненная апрельской ярости солнца, вербяно-снежного настоя ветра, птичьего перелетного гама и крепкого духа отопревшей на взлоб-

ках земли. Касьян и сам когда-то, полубосой, полураздетый, в лаптишках, чавкающих грязиыми пузырями, с беспечиой лихостью скакал по забредшим в огороды льдинам, ие раз ошмыгивался под общий хохот мальцов, а потом тайком сушился за кустами у рьяио гудевшего иа ветру костра. Мечущееся пламя сокрушало все, что удавалось изловить в бегучей воде,— выворочеииые бревиа мостов, опрокииутые плетии, уиесеииые кадки, корыта, детские салазки н прочий обиходиый луб, смытый рекой по дальним н ближиим остомельским деревням, и Касьяи, нагой, с опалениыми бровями, приплясывал н увертывался бесом от порывов огия, стрелявшего раскалеииыми углями и осыпавшего пчелино кусачими нскрами. А теперь вот по весие и Сергуика ие докликаться, ие оттащить от полой воды, пока мать нли бабка не налетят с хворостииой.

Неспешно шел Касьян луговой тропкой, в руке камышовая корзиика с иижиим бельем, с чистой рубахой, кусок мыла завериут в рушник — ие хотелось спешить, шел, оглядываясь, вроде как запоминая, и все такое разное всплывало из прошлого вперемежку с теперешиим.

К майским праздникам Остомля, утомясь и иссякиув, скатывалась в берегах и, будто устыдясь своего иедавиего буйства, смирела, тихо отцеживалась иа чистых песках н отогревалась в затонах и заводинах. А луг, еще ие просохший, еще в бесчислеииых остатиах блюдцах и калюжииах, уже буйно, безудержио зелеиел, и иа этой его молодой мураве, где еще ветру качиуть иечего, ие то чтобы развести травяную волиу, словно на иовой праздиичной скатертн, были особеиио приметны следы иедавиего речного разгула. Белели языки иамытого песка и россыпи пустых ракушек; масляно лоснились пробитые травой заилииы; хрустели под иогами легкие сухие караидашииы прошлогоднего ситника, широкими строчками обрамлявшего иизииы и береговые скаты; бугрились пласты корневищ, старой осокн, где-то выдраииой и уиесеииой льдом, которая тут же иа иовом месте как ии в чем не бывало принималась пускать свежие красноватые пики.

Отступала река, вслед за ией устремлялись шумиые ребячьи ватажки, и было заманчиво шариться в лугах после ушедшей воды.

Чего тут только ие удавалось найти: и еще хорошее, справное весло, и лодочиый ковшик, и затянутый нлом вентерь или кубарь, и точеиое веретенце, а то и прялочье колесо. Еще мальчишкой Касьян отыскал даже гармоиь, которая хотя н размокла н в подраииые мехи иабило песку, ио зато плаики оказались в сохраиностн, и ои потом, приколотив нх к старому голенищу, наигрывал всякие развеселые матаии.

Но пуще всего было забавы, когда в какой-нибудь мочажиие удавалось обиаружить щуку, не успевшую скатиться за ушедшей водой. Смельчаки разувались и, вооружившись палками, лезли в студеио-прозрачную, отстоявшуюся воду, где было видать каждую былку, каждый проросший стебелек калужиицы. Щука чериой молиией прошивала мелководье, успевала прошмыгивать между ребячьих ног, делала отчаяииые «свечи», окатывая брызгами оторопевших ловцов. Под коиец в азарте охоты все оказывались мокры по самые маковки, одиако же кому-иибудь удавалось-таки, взбаламутив воду до кисельиой гущииы, сцапать морковиыми озябшими руками зубастую пройду и вышвырнуть ее далеко иа сухое. То-то было ликоваиия: «Ага, попалась, пакостная! Не вот-то тебе красиоперок шерстить!»

И все это — под чибисииый выклик, под барашковый блекоток падавших нз подиебесья разыгравшихся бекасов, которых сразу и не углядеть в париой притумаиеиной синеве.

А то бывает пора, которая люба Касьяну с детства, даже ие пора, а всего лишь день один. Издавиа заведеио было в Усвятах н перешло это иа ионешиее время — сразу же, как отсеются, выходить всем миром на подчистку выпасов. И иазывается этот деиь травииком. Так и говорилось: «Эй, есть ли кто дома? Выходь все иа травник! На травиик пошли! Все на травиик!» Да и скликать особо ие иадобио: на это совместиое дело усвятцы сходились охотно. Кто с лопатой, кто с тяпкой, а кто и просто с ножиком, выходили от мала до стара подсекать татариик, чтобы извести его до цвета. Работа — ие работа, праздиик — не праздиик. И дитю ие уморио срезать ножиком плоскую молодую колючку — перволистиик, а уж девкамбабам и вовсе вроде забавы: набредут да и подсекут тяпкой, иабредут да н подсекут... Рассыплются по лугу, снуют туда-сюда, будто грибы ищут. А ребятишки друг перед дружкой: «Чур, моя! Чур, моя!» У мужиков тем временем свое: собирают валежииы, хламье всякое, кромсают лопатами иа куски иатаскаииые половодьем осочиые пласты, иаваливают на подводу и отвозят прочь. После того стоит луг зелен до самой осени, лишь цветы переменяет: то зажелтеет одуваиом, то сиие пропряиет гераньской, а то закипит, разволиуется подмаренниками.

А уже к предлетью, когда выравняются деньки, на лугу наметятся первые тропки. Глядеть с деревеиской высоты, так вои сколь их протяиется к Остомле. Каждые три-четыре двора топчут свою тропу: у кого там лодка примкнута, у кого вентеря поставлеиы, кто по лозу, а кто с бельем и пральииком. И только купалище иа все Усвяты общее: есть один пригожий изворот, этакий крендель выписывает Остомля. Коиечио, выкупаться можио и в других местах, ребятишкам, тем везде пристаиь, и все же почему-то усвятцы больше сбивались на этот креидель, иазываемый Окуиицами.

Вспоминалось все это Касьяну, пока шел он тропой, но уже не было в нем прежнего обнаженного и чуткого созвучия, а обнимало его некое обморочное и теперь уж безбольное отрешение и отсутствие, с каким он проснулся нынче в санях: вроде бы все это было с ним, все помнил, все видел, но какой-то отдалившейся душой, чем-то застланным зрением. И ступал он словно не по знакомой тверди, каждой подошвой ощущая врожденное родство с ней, а вроде бы не касался земли, несомый обесчувственной скорбью, вызревшей готовностью к завтрашней дороге. И все же шел он не из простой потребности выкупаться и одеться в чистое перед дорогой, а что-то и еще позвало его в луга, к таявшейся в них Остомле, без которой не мог он завтра покинуть дом с чувством исполненного отрешения.

Сначала надо было минуть узкий, саженей с десяток, песчаный перешеек; справа полукружьем загибалась сама Остомля, слева подступала долгая травяная заводина. Перешеек упирался в стену краснотала, а уже потом открывались и сами Окунцы — подкова чистых песков, полого уходивших под воду. Получалось что-то вроде всамделишной бани: с входом, зеленым тальниковым предбанником и самой парилкой, где за кустами, в затишье, песок прокалялся до печного жара.

Думал Касьян побыть час-другой наедине, в очищающей тиши последнего безлюдья, которого потом уже не будет, но еще издали сквозь лозняки приметил он сложенную одежду, чей-то фанерный баульчик, а выйдя на открытое, увидел и хозяев этой поклажи: Афоню-кузнеца и своего напарника по конюшне, Матвея Лобова. Афоня, упершись руками в колени, стоял на мелком, белея крупным незагорелым телом, напрягшимся бугристыми мышцами, тогда как Матюха, орехово пропеченный, ребрастый, с пустым сморщенным животом и намыленной головой, пучком куги размашисто натирал Афонину спину, будто сстругивал рубанком. На груди Лобова болтался большой кусок мыла, подвязанный на бечевке. Афоня, выставив разлатую спину, и впрямь походившую на верстак, побагровев, терпеливо сопел и покряхтывал.

— А и копоти на тебе, Афонасей! — наговаривал жилистый и легкий Матюха, обегая Афоню то справа, то слева. — Ей-бо, как на паровозе. Накопил, накопил! Тебя бы впору кирпичом поширкать. На шее, гляжу, дак и уголь в трещинах, не выскребается. Под кожей он, что ли? У тебя небось и все внутренности такие копченые.

— Ты бреши помене, а нажимай поболе, — гудел Афоня. — Давай, давай, поусердствуй.

— Дак я и так стараюсь, уж куда боле. Опосля бабам трое ден нельзя будет белья полоскать. Пока смагу не пронесет.

Касьян, поставив кошелку в тенек, молча принялся стаскивать рубаху.

— Глянь-кось! — выпрямился Матюха. — И Касьян Тимофеич вот он! Как есть все Усвяты. Здорово, служивый! И ты грехи смывать?

— На мне грехов нету, — сдержанно ответил Касьян. Раздевшись, уже нагой, он свернул цигарку и, обвыкаясь, закурил.

— С чего бы это — нету? Или напоследок не сполуношничал?.. — засмеялся Матюха. Сметанно-белая голова его странно уменьшилась, будто усохла, и оттого он выглядел состарившимся подростком с сиротски торчавшими ушами. Осклабясь заячьей губой, некогда разбитой лошадью, он с интересом разглядывал Касьяна ниже пояса. — Мужик как мужик. Кисет на месте.

— Давай три, свиристун, — нетерпеливо напомнил Афоня, стоявший по-прежнему согнуто.

— Да погоди. Дай передохнуть. Эка спинища — что десять соток выпахать.

Афоня-кузнец не стал больше ждать, шумно полез на глубину, раскинув руки и вздымая грудью крутую волну.

Касьян тоже, не спеша, с цигаркой вошел в воду, забрел до пояса и остановился, докуривая и обвыкая. Вода, парна и ласкова, с тихим плеском обтекала тело, и было видно сквозь ее зеленоватую толщу, как уходил, дымился из-под ног потревоженный песок.

— А меня, братка, тоже забарабали, — все так же весело выкрикнул Матюха. — Во, глянь...

Заткнув пальцами уши, Лобов присел, макнулся с головой, и на том месте, где он ушел под воду, остались, завертелись в воронке мыльные хлопья. А когда вынырнул — оказался наголо обритым и еще больше неузнаваемым.

— Вишь? — выдохнул он, сплевывая воду. — Давеча попросил шуряка: сбрей, говорю, купаться пойду. Чтоб под яичко. Все одно там сымут. А теперь я вовсе готовый: и побрит, и помыт. Миленькое дело без волос! Одна легкость.

Матюха туда-сюда провел ладонью по синей балбешке, зачем-то подвигал кожей надбровья: должно, хотел показать, как полегчало голове.

— Вошь теперь не уцепится, — задрал он в смешке рассеченную губу. — Нет ей теперь державы. Не бросай, дай-кось докурю. А ты пока на́ мыльца.

— У меня свое в кошелке, — ответил Касьян, не настроенный на легкий разговор.

— Ну, будешь за своим бегать. На, мыльcя! Теперь вместе идем, твое-мое дома оставляй. — Лобов снял с шеи бечевку и протянул кусок. — Ты где действительную служил?

— В кавалерии, — ответил Касьян, отдавая чинарик и принимая мыло.

— Нет, я в пехоте! — Матюха сообщил это с оттенком приятного воспоминания в голосе. — Соловей, соловей, пташечка! Это я в нашей роте запевалой был. Выйдем, бывало, возьмем ногу, а ротный: ну-ка, Лобов, давай, три-четыре... Дак я и теперь в пехоту согласен. Миленькое дело: кобылу не чистить, об сене не думать. Лопаткой копнул, залез в норку — и хай паляет. А на коне — не-е! Дюже мишень большая.

— Лошадей на кого оставил? — перебил Касьян, тоже намыливая голову.

— Каких лошадей? А-а! Да одного старичка приставили. Деда Симаку. Он еще ничего, колтыхает. А к нему вдобавок Пашку Гыгу. Гыгочет во весь рот, довольный. Жеребят в морду целует. А так ничего, нормально: сено раздает, навоз подчищает. А кому еще? Больше некому.

Касьян не ответил, сосредоточенно возил по голове мыльным куском, глядя в воду.

— Скоро и лошадей брать начнут, так что... Давай-ка и тебе шоркану спину.

Все еще чему-то противясь, должно быть, Матюхиной готовности тараторить по любому поводу, Касьян нехотя пригнулся, расправил плечи, и Лобов, будто себе в удовольствие, принялся громыхать по позвонкам жестким, еще не замыленным, не округлившимся кирпичом серого мыла.

— Я тут уже человек шесть выкупал, — говорил он над ухом, и Касьян уловил шедший от него винный душок. — С самого утра идут мужички. Моются, рубахи новые надевают. Причащаются, можно сказать. Это верно: что в гроб, что на войну — в чистом надо. Не нами такое заведено, потому и нам блюсти. Ты сумку собрал?

— Пока нет...

— А я уже уложился. Я вчерась еще сготовился, как бумажку получил. А чего долго раздумывать — хлебца, сальца да смены пару. Вот тебе и весь сбор. Еще седни стопку выпью — и прощай, Маня. Ты в чем идешь? В сапогах али как?

— Еще не надумал.

— Это б сказать — осень, грязь, а то ж лето. Эвон какая погодка стоит. Миленькое дело — в лаптешках! Мягко, ног не собьешь. Верно я говорю?

— Ну-к, ясное дело, не осень...

— Вот и я так думаю. По такой-то жаре. Дак там все одно переобувать будут в казенное, в чем ни явись. Сапоги и пропадут зазря. А то бабе останутся, хай допашивает с пользой. Погоди, ситничка принесу.

Матюха, повесив на шею мыло, голенасто, высоко задирая ноги, запрыгал по мелководью к ситной куртинке. Надергав темно-зеленых стеблей с беловатыми комлями, он заломил их в пучок и, воротясь, пустился обхаживать Касьяна.

— У Кузьмы уже шумят, — докладывал он возбужденно, на всю реку. — Двери-окна нараспах, гармошка играет. Давеча мимо шел — вылетел сам Кузьма, в начищенных сапогах, ухватил меня за рукав, не отпущает. Пошли, мол, попрощаемся. Нечего, говорю, прощаться, — вместе идем. А ежели вместе, тади, говорит, давай вместе и выпьем.

— Ну чего ж, раз подносят... — сказал Касьян, думая о своем: придет Никифор, а он еще и в лавку не сходил, угостить будет нечем.

— А я и выпил стакашку. В дом, правда, не пошел, дак Кузьма не отстал, в окно бутылку потребовал. А сам уже языком еле-еле.

— Со вчерашнего, поди, не обсох.

— Кой со вчерашнего! Еще до повестки начал. Я ему: пошли, мол, на реку купаться, ополоснемся напоследок. А он: я нынче в вине купаюсь. Грязь на человеке не снаружи, она в ем внутри сидит. Так что, говорит, пошли ко мне отмываться. Да-а, к вечеру расшумится народ: почитай, в каждой избе стряпали. Завтра тяжело будет вставать.

Лобов запаленно остановился, отшвырнул измятый пучок.

— Ну, все! — объявил он. — Начистил — хоть смотрись. Остальное сам. Давай пока перекурим.

Поплавав на вольной глуби, все трое вышли на берег и, закурив с купанья, улегшись на прокаленный песок, сосредоточенно отогреваясь, поглядывали на реку.

Солнце било в глиняный обрез на той стороне, рябой от нор береговушек. Глина знойно пламенела и, отражаясь в воде, струилась там расплавленной медью. В безветрии разморенно обвикли листвой уремные ветлы, и где-то в этой зеленой кипени тоже разморенно и вяло бормотала горлица. Лишь ласточки, выпархивая из нор, оживленно носились парами над речной гладью, то и дело чиркая по поверхности белыми грудками. От их прикосновения река пятналась округлыми ранками, но тут же снова изглаживалась, сама по себе залечивая всякие царапины. И бежала, бежала, завораживая, вода, невесть куда, растворив в себе время, не ведая ни о днях, ни о быстротечных минутах...

— Да-а, — протянул Лобов в продолжение какой-то своей невысказанной мысли. Верхняя его губа, стянутая сизым рубцом, полностью не прикрывала рта, и оттого Матюхино лицо, когда он молчал, всегда обретало изумленное выражение, как будто он впервые видел мир божий. — Благодать! Как и нет ничего...

Афоня-кузнец, должно, за все лето не снимавший рубахи, курино-белый, пупырчатый от речной остуды молча обвел взглядом ту сторону.

— Мы вот тут лежим, покуриваем, — все так же задумчиво проговорил Лобов с растяжкой. — А он идет, иде-е-ет...

Кто это «он» и куда идет — было всем понятно, и Афоня-кузнец лишь углубленно принялся колупать ногтем запекшуюся ссадину на волосатом запястье.

— И вчера шел, и позавчера...

На самую береговую кромку опустился кулик-песочник, шустрая птаха, глянул на недвижных мужиков, но не убоялся, не отлетел подальше, а, тонко пискнув, принялся сновать по песчаной сыри, дергаясь головкой при каждом шажке.

И опять, не получив ответа, Матюха, вдруг оживясь, перескочил на другое:

— А верно ли, будто немец по часам воюет?

— Как это — по часам? — покосился на него Афоня-кузнец.

— Ну как... Сказывают: сперва побреется, надеколонится, кофею попьет. А тади уж разбирает ружья и начинает палять в нашу сторону. Пополдничает, снимет сапоги и — на раскладушку. Мертвый час, стало быть. Ну, а потом еще сколько-то повоюет. Аккурат восемь часов получается. Вроде как в одну смену.

Афоня-кузнец, с интересом было начавший слушать, досадливо отвернулся:

— Мели, Емеля.

— Что намолото, то и просевай.

— И сеять нечего, так видно: брехня. Как это — в одну смену? Война — это тебе не фабрика какая.

— Немцу, можа, и хвабрика. Небось для того им всем часы дадены, чтоб глядеть. Сказывают, все, как есть, при часах.

Афоня пыхнул дымом, хмуро задумался, и по грубому, крупнопористому лицу его видно, как бродила под спутанными волосами какая-то упрямая мысль, какое-то несогласие.

— Ну ладно, по часам. А опосля чего делает?

— Как — чего? — легко удивился Матюха. — Руки моет, ужинает. А потом — спать. Ночью они — ни боже мой, чтоб идти куда. Ни за что не пойдут. Все до одного дрыхнут. Токо часовых выставляют. А остальные храпака. Во, гады, культурные какие, а?

Матюха и сам посмеялся такой несуразной аккуратности и тут же, пришлепнув пяткой по голому заду, спугнув присевшего было овода, сообразил:

— Тут бы на них и навалиться, когда улягутся. Тарараму б наделать, шухеру! А то тыкву из кустов высунуть. С глазами. А внутри свечу зажечь. Я еще малым так-то у дороги тыкву пристроил возле кладбища, дак урядник как хватанул, чуть с коня не слетел.

— Ну и брехать ты здоров, — покрутил головой Афоня. — Сколь тебя знаю, одной брехней жив. Кабы б немец ночью спал, дак не токмо тыкву, а и фитиль пеньковый куда надо вставили б. Хороша брехенька, да, как пуп, коротенька.

— Я-то тут при чем? За что купил, за то и продаю.

— У кого куплено-то, спросить.

— Дак я ж говорил, шуряк ко мне приехал. На проводы. Это ж он меня постриг. А самого его не берут. На него броня наложена. Потому как на железной дороге он. Сцепщиком работает.

— Ну?

— Говорит, поездов, эшелонов на станции — пропасть! Все путя забиты, никак не разъедутся. Бабы, детишки — эуи...куированные называются. Из теих, стало быть, мест, из опасных...

— При чем тут поезда? Ох и талдон!

— Да ты слухай! Я — Емеля, а ты дак и весь Хвома поперечный. Не даст досказать. Чего люди, то и я. Народ бает, может, чего и правда. Не все ж сплошь брехня. Я мелю, а ты сей...

— Ну, ну, валяй.

— Дак шуряку один старичок про то и рассказывал. Потерялся он, отстал от своего поезда, ночь, деться некуда, его и подобрали, привели в служебку.

— Поди, шпиен подосланный, такое брешет.

— Кой там шпиен! Наварили ему картох, поел, пошамкал, а потом под окнами из крана вставленную челюсть споласкивал. А шуряку-то в окно и видно. Доходяга. А так башковитый, про немца долго сказывал. Он еще из самой этой... как ее... Мне шуряк и город называл, да... А! Из Львова! Вот откуда! Будто часовым мастером тамотка был. Он и часы отдавал только не за деньги, а чтоб за хлеб або за крупу. Кабы знато, дак я б и пшенца подослал. Ну, да не об этом... Дак энтот старичок повидал их вдосталь, вот как я тебя. Сказывал, страховитые, и будто каски на них глубокие, по самые плечи. Чтобы, значит, никакая пуля не задела.

— Погоди, погоди, — остановил Лобова Афоня-кузнец. — Ежли по самые плечи, дак это ж вроде ведра должно. Ну-ка, надень на себя ведро — куда глядеть-то будешь?

— Дак, можа, там дырки прорезаны.

— Ну-ну...

— И на касках по бокам вроде бы рожки.

— А рожки для чего?

— Энтого я тебе не скажу, не знаю. Они ж не нашенской веры, а может, и вовсе без никакой, потому, должно, и рога. Дак вроде как я уже таких гдесь видал, на картинках. У моей Верки, в букварях, кажись... Тоже с ведром на голове и с рогами.

Матюха озадаченно поскреб в стриженом затылке.

— Во, братки, какую козюлю нам бить придется-то, — сказал он. — Боись не боись, а куда денешься? А сапоги у него, сказывают, кованые — не то чтобы одни каблуки, а и вся подошва...

— Ну, уж это точно враки, — не согласился Афоня.

— Это ж почему?

— А ходит-то он как, ежли вся подошва? Ну вот давай я тебе на подметку сплошную жалезку накую — далеко ли пойдешь?

— А черт его знает, как он ходит. Это ж немец! У него вон и штык не как наш — чтоб и человека колоть, и колбасу резать. Все продумано. Дак, может, и ноги у него, как у коня...

— Понес, понес неоколесную! Поди макнись вон трохи.

— А чего? Глянь-кось, сколь за семь-то дней прошел. Беги бегом — столь не пробежишь.

— Дак на машинах — чего б не пробечь.

— Что же у него, пехоты нету, что ли?

— И пехота на машинах.

— Ох ты! Какая ж это пехота, ежли пешки не ходит. Чудно!

— Тебе, вишь, и чудно. Села баба на чудно, наступила на рядно. — Афоня-кузнец сердито заплевал окурок и договорил: — Подол оборвала, чудно бабе стало.

Матюха умолк и, сунув свой чинарик в песок, стал засыпать его из горсти, хороня под медленно нараставшим ворошком.

Кулик-песочник все еще бегал вдоль кромки, тыкал шильцем в человечьи следы, налитые водой. Время от времени он останавливался и косил черный глазок на мужиков, будто спрашивал: я не мешаю? Но вот по чистым пескам Окунцов пронеслась расплывчатая тень. Кулик замер, так и не опустив поднятую было для очередного стежка лапку. Все трое подняли головы и увидели в ясной полуденной синеве черную букву «Т». Она кружила над плесом, недвижно распластав крылья, и, когда наплывала на солнце, по пескам проносилась быстрая тень. Чьи-то невидимые глаза, чей-то разбойный замысел кружил над мирными берегами...

Кулик больше не суетился, не тыкался в следы, а настороженно замер, вглядываясь в небо то одним, то другим глазом. Плес затих, затаился под этим неслышным скольжением черной птицы. Смолкла, больше не тенькала в куге камышевка, перестала ворковать в заречных ветлах горлица...

В другое время мужикам было бы наплевать на коршуна, но нынче и им почему-то сделалось неуютно и беспокойно от повисшего над головой молчаливого хищника.

— У, хвашист! — выругался Матюха. — Свежатины захотел.

Но вот коршун, должно быть, все же убоявшись лежавших на песке людей, широким полукругом переместился в займище и повис там над урёмной чащобой. Со стороны он еще больше походил на самолет, что-то разведывавший на земле.

— Ну что, братцы, — приподнялся Лобов. — Пошли еще ополоснемся. В последний разок.

Касьян достал из кошелки пеньковую мочалку и свое мыло и, зайдя в воду, еще раз прошелся по всему телу, не спеша и обстоятельно. Афоня-кузнец только поокунался, а Лобов, улегшись на спину, долго и недвижно лежал так, сносимый вниз по течению, предавшись каким-то думам, а может, и блаженному бездумью.

Потом одевались в чистое, прыгая на одной ноге, продевая сполоснутые ступни в подштанники, напяливали на еще не обсохшее тело каляные, выкатанные рубахи. И уже одевшись, но еще босой, Матюха заскочил в реку и, зачерпнув пригоршню, припал к ней губами.

— Забыл попить на прощанье, — сказал он, вытираясь рукавом. — Доведется ли в другой раз.

А выйдя на береговую кромку, где еще недавно бегал кулик, — босой, в неладной, большеватой рубахе, прикрывавшей подвязанные подштанники у щиколоток, будто приговоренный к исходу — обернулся к реке и низко трижды поклонился лопоухой стриженой головой.

— Ну, матушка Остомля, — проговорил он виноватой скороговоркой. — Прости-прощай. Какие будем пить воды-реки, в какой стороне — пока не знамо. Пошли мы...

Афоня-кузнец, тоже весь еще в белом, сутулясь крутой спиной, насупленно, быковато уставился на реку.

— Ну все, — говорил Матюха, отступая от берега и все еще оглядываясь. — Пошли.

Они надели верхнее, сложенное на траве под красноталом, обулись, еще раз поглядели окрест и молчаливой цепкой прошли по узкому перешейку. И тут, уже на лугу, распрощавшись, пожав друг другу руки до завтрашнего дня, разбрелись по своим тропам.

Шагая выгоном, дрожавшим у краев полуденной марью, Касьян видел, как встречь, то справа, то далеко слева, кто с кошелками, кто с белыми свертками под мышкой, спешили к Остомле еще несколько мужиков.

12

Еще у калитки изба повеяла на Касьяна житным теплом, как бывало на большие праздники. В кухне было уже прибрано, печное устье задернуто занавеской, а на столе под волглой дерюжкой парили выставленные хлебы.

В детстве Касьян всегда старался не пропустить этого радостного момента. Мать, возясь в межхлебье по дому, время от времени подходила к таинственно молчаливой печи, в черной выметенной утробе которой свершалось нечто необыкновенное, томительно-долгое, приоткрывала на пол-устья жестяную заслонку и легкой осиновой лопатой поддевала ближайшую ковригу, разрумянившуюся, глянцево мерцавшую округлой коркой. Она брала хлебину в руки, от жаркости подбрасывала ее, тетешкала, перекидывала с ладони на ладонь, после чего, дав поостыть маленько обверху, подносила к лицу и, будто кланяясь хлебу, осторожно прикасалась кончиком носа. Невольно прослезясь, мать тотчас отдергивала лицо, и это означало, что хлеб еще не в поре, полон внутреннего сырого жара, и надо его снова досылать в печь. Но вот приходило, когда мать, сначала робко, а потом все смелее прижималась носом к ковриге, наконец, и вовсе расплющивала его, терпя, не уступая внутреннему ржаному пылу. В такую минуту лицо ее радостно расцветало, и она, то ли самой себе, то ли всему дому, кто был тут и не был, объявляла: «Слава тебе...» С легким шуршанием хлебы один за другим слетали с лопаты на выскобленную столешницу, и сначала кухня, затем горница и все закутки в избе начинали полниться теплой житной сытостью, которая потом проливалась в сени, заполняла собой двор и волнами катилась по улице. Возбужденные хлебным запахом, воробьи облепляли крышу, к сеням сбивались куры, топтались у порога, пытливо заглядывая в дверь, и все тянула воздух влажно вздымавшимися ноздрями, принюхивалась сквозь воротние щели запертая в хлеву корова.

А тем временем мать, омочив в свежей, только что зачерпнутой колодезной воде гусиный окрылок, взмахивала им над хлебами, кропила широким крестом, и те, без остатка вбирая в себя влагу, раздобрело вздыхали побархатевшими округлостями и начинали ответно благоухать, как бы дыша в расслабляющей истоме и успокоении. Потом караван задергивали чистым суровьем и оставляли так до конца дня остывать и тем дозревать каждой порой до потребной готовности. И не было у тогдашнего Касьянки терпения, чтобы, улучив минуту, не подкрасться и не выломить исподтишка где-нибудь в незаметном месте теплый окраек, еще в печи порванный жаром и так и запекшийся хрустким дерябистым разломом. Да мать и сама догадывалась, отрезала, где он указывал, наливала в блюдце конопляного масла, посыпанного солью, и он, подсев к кухонному оконцу, оглаженный по голове теплой материнской рукой, счастливо лакомился первохлебом, роняя зеленые масляные капли в посудинку. Вот и вырос давно Касьян, и уже за него Сергунок с Митюнькой, боясь отцовского ремня, тайком обламывали на все том же столе ковригиные корки, но и до сих пор памятно и радостно ему это, да и теперь иной раз не отказался бы он от прежнего озорства, не будь самому стыдно перед мальцами долить хлеб раньше времени.

Но нынче Касьян даже не приподнял покрывала, чтобы взглянуть, удался ли хлеб, как делал и радовался он прежде, а лишь вскользь покосился в ту сторону, уведенный от самого себя своим новым и непривычным отрешенным состоянием.

Следовало бы уже вернуться посланному Сергунку вместе с Никифором, Касьяновым братом. С этим ожиданием встречи Касьян и вошел в дом. Но изба встретила его безмолвием, было лишь слышно, как со скрипучей хромотой тикали на простенке ходики да иногда глухо постанывала мать, прикорнувшая после ранней колготы у себя на полатях.

В горнице тоже было прибрано и торжественно-тихо. Просыхая в тепле по-зимнему натопленной избы, влажно дышали сосной вымытые половицы, стол белел чистой свежей скатеркой, повешенные занавески притемняли оконный свет, и в полутьме красного угла перед ликом Николы-угодника ровно светилась лампадка. Поддерживаемая тремя тонкими цепочками, она процеживала свой свет сквозь тигелек из синего стекла, окрашивая беленый угол и рушник, свисавший концами по обе стороны иконы, в голубоватый зимний тон. И было здесь все по-рождественски умиротворенно, будто за стенами и не вызревал еще один знойный томительно-тревожный день в самой вершине лета.

Касьян в свой тридцатишестилетний зенит, когда еще кажется далеким исходный житейский край, а дни полны насущных хлопот, особо не занимал себя душеспасительными раздумьями, давно уже перезабыл те немногие молитвы, которым некогда наставляла покойница-бабка, и редко теперь обращался в ту сторону, да и то когда отыскивал какой-нибудьналоговый квиток за божницей. Но нынче, войдя в горницу, нехожено-прибранную, встретившую его алтарным отсветом лампады, он, будто посторонний захожий человек, тотчас уловил какое-то отчуждение от него своего же собственного дома и, все еще держа кошелку со смененным бельем, остановился в дверях и сумятно уставился в освещенный угол, неприятно догадываясь, что сегодня лампада зажжена для него, в его последний день, в знак прощального благословения. Ее бестрепетное остренькое пламеньце размыто отражалось в потускневшей золоченой ризе старой иконы, видавшей поклоны еще Касьяновой прабабки, и из черноты писаной доски ныне проступал один лишь желтоватый лик с темнозапавшими глазами, которые, однако, более всего сохранились и еще до сих

пор тайным неразгаданным укором озирали дом и все в нем сущее.

Стоя один на один, Касьян с невольной пристальностью впервые так долго вглядывался в болезненно-охристое обличье Николы, испытывая какую-то беспокойную неловкость от устремленного на него взгляда. Икона напоминала Касьяну ветхого подорожнего старца, что иногда захаживали в Усвяты, робко стуча в раму через палисадную ограду концом орехового батожка. Словно такой вот старец забрел в дом в Касьяново отсутствие и, отложив суму и посох и сняв рубище, самовольно распалил в углу теплинку, чтобы передохнуть и просушиться с дороги. И как бы пришел он откуда-то оттуда, из тех опасных мест, и потому, казалось, глядел он на Касьяна с этой суровой неприязнью, будто с его тонких горестных губ, скованных напряженной немотой, вот-вот должны были сорваться скопившиеся слова упрека, что чудились в его осуждающем взгляде. Встретившись с Николой глазами, Касьян еще раз остро и неприютно ощутил тревожную виноватость и через то как бы вычитал эти его осудные слова, которые он так натужно силился вымолвить Касьяну: «А ворог-то идет, идет...»

И Касьян тихо вышел, почему-то не посмев оставить в горнице свою кошелку, и затворил за собой дверные половинки.

Во дворе он в раздумье постоял над корытцем с недорубленным табаком, но досекать не стал, а только зачерпнул на цигарку и закурил все с тем же саднящим чувством вынесенного упрека. Ему вдруг представилось, как те идут, идут густыми рядами по усвятскому неубранному полю, охваченному огнем, и сквозь дымную пелену и огненные хлопья зловеще маячат насунутые по самые плечи рогатые сатанинские каски.

Пора и на самом деле было начать собираться, заблаговременно уложить мешок, пока не подошел Никифор, а может, и еще кто. Тогда, на людях, некогда будет, а завтра чуть свет вставать, бежать на конюшню за лошадьми, которых обещался подать к конторе под поклажу. Но тут же вспомнил, что сумку унес с собой Сергунок, и, чертыхнувшись, а заодно подосадовав на Натаху, которая не ко времени забежала невесть куда, направился к амбару, где у него хранились сапоги.

В амбаре было, как всегда, сумрачно и прохладно, хорошо, домовито пахло зерном, и он невольно и глубоко вдохнул крепкий успокаивающий житный воздух, к которому едва уловимо подмешивалась сладковатая горечь сухой рябины, наломанной и развешанной по стенам Натахой еще прошлой осенью, — от мышей. Рябина, подсыхая, роняла ягоды, и теперь их сморщенные бусины повсюду попадались глазам — и на полу, и на крышке закрома, и даже на тесовых полках. Из года в год амбар впитывал каждым бревном этот хлебный дух, и пахло здесь обманчиво и сытно даже в те памятные годы, когда закрома были пусты. И теперь Касьян, не веря этому духу, приподнял крышку и не заглядывая сунул руку в ларь. Рука ушла под самую подмышку, прежде чем пальцы торкнулись в зерно: хлеба оставалось в обрез, едва прикрывалось днище. Правда, на полке кургузился располовиненный мешок помолу, и этого с лихвой хватило бы до новины, а там за ним уже числилось полтораста заработанных ден. Да кто ж его знает, как оно обернется: хлеб в поле — душа в неволе... И опять ему навязчиво померещились те железные рога над неубранной рожью...

— Эх, не в руку, не в пору затеялось, — почесал он за воротом. — Что б малость повременилось-то...

Новые Касьяновы сапоги висели на деревянном штырьке, а старая расхожая пара вместе с распаявшимся самоваром валялась в углу — каждому по своей чести. Касьян постоял, оглядывая те и другие, в чем ему идти завтра. Висевшие сапоги были еще совсем новые, на спиртовой подметке, прошпиленные в два ряда клеиовыми гвоздями. Шил он их на заказ к прошлому покрову в Верхних Ставцах за мешок жита и кабанью лопатку. Касьян берег их от будничной носки, всю зиму старался обходиться старыми, пока те окончательно не подбились, так что заказные остались, считай, нехожеными. Идти в таких было жалко, да он, по правде, и не собирался, а только так — взглянул, что за них можно взять при случае. Прежнего мешка, конечно, не вернешь, хлеб, ясное дело, будут придерживать, осторожничать с хлебом, но все же вещь и теперь стоящая, не про мякину. Пусть-ка себе висят, мало ли чего... А то и сама походит, у самой не во что ступить. Пару портянок навернуть, дак ей в самую пору. Небось не плясать.

И, больше не раздумывая, подобрал старые, сунул под мышку и, выйдя, запер дверь на засов.

При свете Касьян еще раз оглядел обутку. Уходил он чоботы, что и говорить, донельзя: на задниках подпоролась дратва, да и гвоздочками бы подкрепить не помешало. Можно было загодя сносить к деду Акулу, да теперь когда ж чиниться, чиниться и нет времени. Ну да ладно, смазать теплым дегтьком, авось к утру помягчают. Всего-то на один раз и нужны: дойти до призывного, а там — в эшелон, на железные колеса. Обойдется.

Касьян подлез под амбар, достал оттуда подвешенную под полом дегтярку и, пристроившись на каменном приступке, принялся деревянной лопаточкой расчищать загустевшую жижу, снимая с поверхности влипшие куриные перья. За тем и застала его Натаха. Она вошла в калитку, одной рукой ведя за собой Митюньку, тогда

как другой придерживала что-то над животом, завернув в подол передника.

— Сережи еще нету? — спросила она, остановившись перед Касьяном.

Касьян со вчерашнего не мог побороть объявшего его отсутствия и, не отрывая глаз от дегтярки, глухо выдавил:

— Нету пока...

— Ох, что ж это он! Не заплутался ли где? Послала — сама не своя.

Касьян промолчал.

В растоптанных парусиновых башмаках, осоюженных кожицей, Натаха выжидательно стояла над ним, и Касьяну было не по себе от этого ее привязчивого стояния: шла бы уж занималась своим, что ли... Он ее ни в чем и не винил за вчерашнее, чего было спрашивать с такой никудышней. Но вот помимо воли захрясла в нем и не отпускала какая-то мужицкая поперечина.

— Где ходила-то? — спросил он строжась. — Укладываться надо, а ты из дому.

— В лавку бегала. Никифор придет, а у нас и подать нечего.

Касьян вскинул бровь, одноглазо покосился на ее скомканный передник.

— Седни две подводы привезли, а уже нету. Мне Клавка последнюю отдала.

Касьяну хотелось сказать, что одной будет мало, может, Никифор с женой подойдет, да там кто заглянет, но промолчал. Ему бы след самому об том подумать, самому и в лавку сходить, но вот замешкался, запамятовал как-то. Да и не хотелось ничего нынче, вчера с мужиками перегорел, сбил охоту.

— На-ка, сынок, отнеси в дом, — Натаха высвободила из передника бутылку. — Да смотри, не урони.

Митюнька, держа бутылку обеими руками впереди себя, боязно, будто с завязанными глазами, поковылял к сеням.

— А ты чего затеял-то? — спросила Натаха, все еще тяжко пышкая после недавней ходьбы.

— Поди, видишь.

Она нагнулась, подняла правый сапог за голяшку, повертела его в руках. Под ее пальцами чобот ощерился черными подгнившими шпильками.

— Не рви! — потянулся к сапогу Касьян. — Чего насильно рвешь-то?

— А я и не рвала. Такой и был раззявленный.

— Дай, дай сюда!.. — осерчал Касьян.

Он отобрал сапог, поставил за себя на приступок.

— Ужли в этих пойдешь?

Касьян молчал, уставясь себе под ноги.

— Ох, Кося, не след бы в последний день так-то. Слова не вытянешь. В этих, что ли, надумал?

— А чего... И в этих ладно, — неохотно буркнул Касьян.

— Да куда уж ладней. Глянь, как спеклись, водянки набивать токмо. Куда ж в таких-то?

— Я с подводами. Поклажу повезу.

— Дак с подводами не до самого фронту. А ежели дальше пешки погонят? Да паче незгода зайдет? Не на день, не на неделю идешь. Мало ли чего...

— Лобов вон дак и вовсе в лаптях. Все равно менять будут, казенные дадут.

— Да уж когда их дадут-то. Не вдруг и дадут.

— Дадут! Босыми на немца не пойдем.

— Не дури, не дури, Касьян. Надевай новые.

— Чегой-то я буду попусту губить.

— Ну как же попусту? Разве на такое итить — попусту?

— А так и попусту: хорошие сни́мут, а кирзу дадут. А то прода́шь ежели что...

— Как это ежели что? — подступилась Натаха. — Ты об чем это? Ты что такое говоришь-то?

— Не к теще в гости иду, — обронил жесткий смешок Касьян.

— Ничего не знаю и знать не хочу этого! — запальчиво отмахнулась Натаха, и ее пегое лицо враз заиграло пятнами. — И ты про такое загодя не смей! Слышишь! Не накликай, не обрекай себя заране.

— Пуля, сказано, дура. Она не разбирает.

— Нехорошо это! — не слушала его Натаха. — Со смятой душой на такое не ходят. Не гнись заранее-то. Этак скорее до беды.

— Ты откуда знаешь, что у меня?

— А кто ж должон знать?

Касьян отложил лопатку, полез в карман за кисетом. Долго молча вертел-ладил неслушную самокрутку. И все это время Натаха тяжелой горой стояла над ним, ждала чего-то.

— Гляжу я, — лизнув языком по цигарке, сумрачно вымолвил Касьян, — вроде как не чаешь туда спровадить. Еще и повестки не видела, а уже сумку сшила.

— Ох дурной! Ну, дурной! — Натахины глаза замокрели, она потянула к лицу край фартука. — Да как же язык-то твой повертывается этакое сказать? Побойся совести! Господи...

Она отвернулась, угнула голову. Подол ее выцветшего платья мелко подрагивал. Отечные щиколотки взопревшей опарой наплыли на края запыленных башмаков.

Его полоснуло внезапной жалостью. Сболтнул, конечно, напрасное. Дак ведь и сапоги оставлял не из жадности, ей и оставлял, понимать бы надо.

— Ну, будя, будя, — виновато проговорил он. — Я не гнусь. Откуда это взяла?

Натаха не отвечала, утиралась передником.

— Не стану ж я песни кричать? А что выпало, то мое, на чердак не поглядываю. Мне, поди, тоже обидно такое слышать — не гнись.

— Ох, Кося... — выдохнула она давившую тяжесть.

— Ну, сказано, будя. Я и так казнюсь: они вон идут, а я еще доси тут...

— Вот и ладно, — обернулась она. — Так и держи себя, не послабляйся. И нам будет через то легче. А уж ежели что, дак сапоги твои нам не утеха.

— Так-то оно так. А все же не бросайся, девка, — пытался резонить Касьян. — С чем останетесь-то? Вон в закроме дно видать. А из колхоза то ли будет чево... А то пуда два за сапоги возьмешь — тоже не лишек.

— А мне мало за тебя два пуда! — Натаха снова всхлипнула, содрогнулась всем животом. — Мало! Слышь? Мало! Ма-а-ло!

— Да охолонь ты, не ерепенься! Не знай, как подопрет.

— И слушать не хочу! — закусив губы, она вдруг схватила стоявший перед Касьяном сапог и что было сил швырнула его за плетень. — Пойдешь в рвани ноги бить, а я тут думай. Нечего! Иди человеком. Весь мой и сказ!

Касьян растерянно глядел на дегтярку, потом молча встал, пнул с приступка оставшийся сапог, открыл амбар и снял со стены новые.

Натаха тоже молча ушла, оставив выбежавшего во двор Митюньку, и, как только она скрылась в сенцах, оттуда с заполошным кудахтаньем, перепрыгивая одна через другую, посыпались куры, а вслед им вылетел березовый окомелок.

— Новые так новые, — передернул плечами Касьян.

Ожидая Никифора, он вместе с Митюнькой возился во дворе; смазал и подвесил сапоги в тенек под амбарной застрехой, досек табак и, заправив его тертым донником, набил добрую торбочку. Потом принялся за хворост, перерубил чуть ли не весь припас и сложил под навесом. Никифора все не было, и он, подвострив топор, взялся дорубливать остальное.

Время от времени Натаха, высовываясь из растворенного окна, уже ровно, примиренно выкрикивала:

— Кося! Табак готов ли? Давай-ка сюда, буду пока собирать.

Или:

— Митюня-я! Ты не брал ли карандашика? Папке надо. Письма нам будет писать папка. А я инкак не найду карандашика.

13

Пришла с лугов, толкнув рогами калитку, корова Зозуля — в черном чепраке по спине, будто внапашку от духоты и зноя. Корова сытно взмыкнула и, покосившись на сапоги, повтягивав ноздрями расплывшийся дегтярный дух, протяжно выдула из себя негожее снадобье. Потом, сама источая парной запах переваренной зелени и накопленного молока, пощелкивая, будто новой обувью, начищенными травой еще крепкими копытцами, не спеша, домовито побрела по двору, принюхиваясь и приглядываясь ко всякой мелочи.

Вскоре мимоходом набрел Леха Махотин — в новой синей рубахе с косым воротом, опоясанный узким кавказским ремешком, унащенным, ровно выездная сбруя, мелкими бляшками. Чуб у Лехи вороными кольцами, черные глаза масляно щурятся — навеселе мужик. Леха размашисто, точно год не виделись, шлепнул по Касьяновой ладони:

— Ну как, шлемоносец? Снарядился?

— Да подь ты... Уже приклеили.

— Ладно тебе! И шуткануть нельзя. Чего делаешь-то?

— Да вот... — Касьян кивнул на выложенную стенку дров. — Хоть на первое время.

— Давай кончай, теперь уж не напасешься. Бери Наталью да айда ко мне, посидим напоследок.

Касьян оглянулся на недоприбранную порубку.

— Дак лучше ты ко мне. С Катериной и приходи.

— Чем же лучше? У тебя, гляжу, тоже никого. А я сейчас за теткой Апронькой да за Михеем сбегаю да и сядем. Михей своих двух еще теми днями отправил, дак теперь все на задах стоит, мается один.

— Нет, Лексей, спасибо на добром. Сам гостей жду. Малого послал за Никифором. С минуты на минуту должны.

— И Никифора бери, всем хватит.

— Нет, Леха, нет. Ты уж прости. Не тот день, чтоб из дому ходить. Сам понимаешь. С тобой мы еще и завтра свидимся, и потом. Глядишь, не разлучат, вместе будем. Последние часочки дома надо побыть. Может, зайдешь, выпьем моей?

— Да чего уж... Всю по дворам не перепьешь. Ну, раз так — бывай! Пойду к Зяблову заверну.

— Дак и он не пойдет. Не тот день, говорю...

— Вот, черт, никого не доклнчешься. Э-эх, р-раскувшин с пр-ростоквашей...

Сверкая сатиновой спиной, Леха шагнул к дворовому окну, боднул головой занавеску и шумливо гаркнул:

— Здорово, Натальюшка, душа любезная! Здравствуй, теть Фрось. Дайте на вас в последний разок погляжу. Ну, Наталья, ну, молодец! Эка ряска!.. Я-то? Спасибо, спасибо!.. А тебе благополучно третьего, богатыря-селяниновича... Не-е, теть Фрось, ничего не бойся... Да уж

постараемся, бабоньки, постараемся... Придем, теть Фрось, куда мы денемся... Ну, прощевайте! Не поминайте лихом, ежели что не так...

Кивнув еще раз Касьяну, Леха, возбужденный этим беглым разговором, вышел задней калиткой, и там, под вишенником, вырвалось у него растроганным всплеском:

Ах, кабы на цветы да не морозы,
И зимой бы цветы расцветали-и...

Раза два Касьян выходил за ворота и, слушая, как уже начала то здесь, то там пошумливать деревня, выглядывал в дальнем ее конце Сергунка. Но он, пострел, объявился аж под самый вечер, когда солнце, обойдя Усвяты, покатилось к своей летней обители где-то за ржаным полем. Перекрещенный белыми лямками, волоча за собой пыльную, в листьях, лозовую хворостину, Сергунок заскочил во двор один, без Никифора.

— Вот! — протянул он Касьяну сложенную бумажку. — Велели передать.

Касьян, недоумевая, развернул синий клочок от рафинадной пачки. Неровными полупечатными буквами там было накарябано: «Родной брат Касьян Тимофеич. Кланяется тебе твой родной брат Никифор Тимофеич и Катерина Лексевна. А притить мы не можем, со всем нашим удовольствием, а нельзя. Завтра я призываюсь, так что притить не могу, нету время. Сережка твой говорил, тебя тоже берут. Тогда пойдем вместе. Только возьми своего табачку и на меня. Твой табак добрый. Одно жалею, не увижу матушку нашу Хросинью Илиншну. Пусть обо мне не убивается. А если пойдем шляхом мимо Усвят, то, может, наведаюсь попрощаться. А так у нас все хорошо, все живы-здоровы.

Твой родной брат Никифор Тимофеич».

Касьян так и этак повертел сахарную бумажку. До сей минуты ему и не мнилось, что Никифора тоже призовут. Он был на восемь годов старше Касьяна. Правда, после него народились еще два мальчика, а уж потом сам Касьян четверт. Но те умерли еще в младенчестве, и остались Касьян да Никифор, как две вереи, между которыми зияли никем не подпертые эти восьмилетние разверстые ворота. Никифор еще в первый год женитьбы отошел от двора, обжился в Ситном на тестевой земле, как раз к тому времени умершего, да и остался там за хозяина. И вот, оказывается, и его берут, старшого. Мать теперь и вовсе разгорюется. Обвыкаясь с этой новостью, Касьян устраненно смотрел на Сергунка, все еще стоявшего перед ним с холщовой сумкой и со своим ивовым пропыленным скакуном. Мальчонка отмерил на нем в оба конца верст двенадцать, даже немного осунулся лицом, но глаза его распахнуто голубели от исполненного поручения.

— Дак чего там дядя Никифор? Готовится?

— Куда готовится? — не понял Сергунок.

— На войну. Куда ж еще?

— Не-е! — зазвенел голоском Сергунок. — У них там никакой войны нету.

— Как это нету?

— Дядя Никифор с мужиками на речку ходил. Должно, рыбу ловить.

— Так... А тетка чего?

— А теть Кать хлеб пекла с маком. А потом чего-то шила. Она и нам колобок прислала. — Сергунок поддал сумку спиной.

— Ага... Ну ясно... А ты-то почему долго? Али забаловался? Мать вон истикалась: нету и нету.

— Ну дак дядя Никифор на речке был! — обиделся Сергунок. — А когда пришел, вот это написал и велел передать.

Касьян мазнул Сергунка по щеке ладонью:

— Молодец.

Старуха Ефросинья Ильинична, все эти дни горестно молчавшая, неслышная в своем топтании по дому, уже обряженная в новый крапчато-белый платочек, выслушала известие о старшем сыне как-то равнодушно, словно до нее не доходили эти слова или вроде они сами собой разумелись.

— Ну-к што ш... — обронила она, помолчав. — Тади садитесь обедать.

И, ссутулясь, тенью побрела в катаных опорках на кухню, оставив за собой тягостную тишину.

Касьян, сам не ведая для чего, аккуратно свернул синюю бумажку по прежним сгибам и, как налоговую квитанцию, бережно засунул за Николу, который спокон веку хранил все ихние счета с посюсторонней жизнью. Оказывается, вблизи Никола был напрочь лыс, или, как Матюха Лобов, наголо острижен. «А они-то идут, идут...» — опять напомнил он одними глазами.

— Это твое, Кося, — почему-то шепотом сказала Натаха, указав на сундук, где высилась горка, прикрытая белым. — Проверь, что не так...

Касьян машинально приподнял край, увидел стопку нижнего белья, ковригу хлеба, кучку яиц, кружку, резную ложку и еще какие-то узелки и свертки.

— Табак там? — спросил он о самом главном.

— И табак, и спички — десять коробок. Хватит десятка? А это вот соль в мешочке. Тут мыло. В этом чулке, запомни, тетрадка с карандашом. А в другом чулке — нитки с иголками и пуговками. Курицу ешь сразу, не держи...

— А в сумке что?

— Сухари. Про всякий случай.

— Куда столько всего. Благо ли носить?

— Носить — не просить, Кося. Лишком и поделиться можно.

— Пап! — Сергунок дернул Касьяна за брюки. — Пап, ножик не забыл?

— Какой ножик? — не сообразил Касьян.

— Складничек который.

— А-а...

Касьян сунулся в карман: нож был на месте. Он достал его, повертел в руках и протянул Сергунку:

— Так уж и быть, это тебе.

— А ты? — не решился принимать Сергунок. — Как же на войне-то без ножика?

— Бери, бери. Отца вспоминать будешь.

Сергунок, не веря себе, схватил складник и закраснелся по самые уши. Оглянувшись на Митюньку, который зазевался, упустил этот момент, он юркнул в кутник за полог.

— А бритву я пока не клала, — напомнила Натаха. — Ты сперва побрейся, покуда соберем обедать. И на-ка наденъ вот это.

Она вложила в Касьяновы руки новую рубаху, которую купила еще к маю, — черную, с частым рядом белых пуговиц.

Касьян послушно достал из-за ходиков завернутую в тряпицу бритву, нацедил кружку кипятка и, прихватив рубаху, рушник и кругляшок зеркальца, уединился во дворе под навесом. Там он неспешно, старательно выбрился, чтобы хватило дня на три, ополоснул из кружки лицо и надел рубаху, еще пахнущую лавкой. И пока он собирался к столу, Натаха тоже успела переменить кофту, умыть и причесать ребятишек. Оба они уже сидели рядышком на своих местах и, разобрав ложки, смиренно и нетерпеливо поглядывали, как бабка носила из кухни съестное. На середине стола в глиняной черепушке дразняще парила сваренная целиком курица, потом появились свежие, едва только двинувшие в рост огурцы-опупки, томленная на сковородке картошка, желто заправленная яйцом, миска с творогом, блюдо ситных пирогов, распираемых гороховой начинкой с луком, и под конец бабушка подала лапшу: одну посудину поставила на двоих Сергунку с Митюнькой, другую — отцу с матерью, а третью, маленькую, поставила на угол себе.

Не каждый день на стол выставлялось сразу столько всего хорошего. Война войной, не всякую минуту о ней помнилось, как о любой игре, еда же была — вот она, и это обилие пищи невольно настраивало ребятишек на предвкушение нежданного празднества. И было слышно, как они возбужденно перешептывались:

— Ух ты! Глянь-кось, пироги! Я вон тот себе возьму.

— Какой?

— А вона. Который самый зажаристый.

— Ага-а, хитленький!

— А кто в Ситное ходил?

— Ну и сто? А я в магазин зато.

— Ох, даль какая. Небось мамка несла.

— Как дам...

— А во — нюхал?

— А ты... а ты Селгей-волобей. Селый! Селый!

— А ты Митя-титя.

— А зато мне кулиную лапку, ага!

— Прямо, тебе!

— А сто, тебе, сто ли ча? Все тебе да тебе.

— И не мне.

— А кому за?

— Это папке курицу. Папка на войну идет, понял? Когда вырастешь большой, пойдешь на войну, тади и тебе дадут.

Вошла бабушка с ковригой хлеба и, отерев ей ладонью донце, протянула через стол Касьяну.

— На-ка, кормилец, почни, — сказала она слабым, усталым голосом, перекрестясь в угол. — Не знаю, удался ли...

Ребятишки притихли, оборвали свои препекания.

Бессчетно хлебов пеклось на Касьяновом веку, но всякий раз взрезать первую ковригу было радостно, будто вскрывалась копилка сообща затраченного недельного труда, в которую от каждого, мал или стар, была вложена посильная лепта, и всегда это делалось при полном семейном сборе.

Некогда этот же стол, нехитро затеянный, но прочный, из вершковых плах, рассчитанный на дюжину едоков, возглавлял дед Лукаша, от которого в Касьяновой памяти уцелели его белодымная борода до третьей пуговицы на рубахе да грабастые жесткие руки, измозоленные веревками и лапотным лыком. И помнилось, как он, перекрестясь и прижав ковригу ребром к сивой посконной груди, осыпав ее белым волосом бороды, надрезал первый закраек, разглядывал и нюхал, а бабушка, стоя за его спиной, трепетно ждала своего суда. Потом дед Лукаша, ослабев и избыв, уступил суд Касьянову отцу, а отец вот уж и самому Касьяну. Так и менялись за этим столом местами — по ходу солнца. На утренней стороне, как и теперь, всегда теснились ребятишки, на вечерней — женщины, а в красном углу, в застольном зените, всегда сидел главный резальщик хлеба, пока не приходило время уступить нож другому.

Касьян, держа большой самодельный нож из стального окоска, принял из материных рук ковригу, отдававшую еще не иссякшим теплом, и только чуть дрогнул уголками рта при мысли, что это его последний хлеб, которым ему нынче предстояло оделить семью. Наверное, это осознавали и все остальные, потому что, пока он примерялся, с какого края начать, — и Натаха, и бабушка, и Сергунок, и даже Митюнька прикованно, молча глядели на его руки. И оттого сделалось так тихо, что было слышно, как поворачиваемый хлеб мягко шуршал в грубых Касьяновых ладонях.

Но Касьян вдруг опустил хлеб на стол и сказал:

— А ну-ка, сынок, давай ты.

— Я? — встрепенулся Сергунок. — Как — я?

— Давай, привыкай, — сказал Касьян и положил перед ним ковригу.

От этих отцовых слов мальчик опять пунцово пыхнул и, все еще не веря, не шутит ли тот, смущенно посмотрел на хлебный кругляш, над которым он, сидя на лавке, едва возвышался маковкой.

— Давай, хозяин, давай, — подбодрил его Касьян.

Сергунок, оглядываясь то на мать, то на бабушку, обеими руками подтянул к себе тяжелую хлебину и робко принял от отца старый источенный нож.

— А как... как резать? — нерешительно спросил он.

— Ну как... По едокам и режь.

Сергунок привстал на лавке на колени. Посерьезнев и как-то повзрослев лицом, но все еще полный робости, словно перед ним лежало нечто живое и трепетное, он первый раз в своей жизни приставил кончик ножа к горбатой спине каравая. Корка сперва пружинисто прогнулась, но тут же с легким хрустом охотно, переспело раздалась под ножом, и Сергунок, бегло взглянув на отца: так ли он делает, обеими руками надавил на рукоятку, так что проступили и побелели остренькие косточки на стиснутых кулаках. В ревностном старании высунув кончик языка, он кое-как, хотя и не совсем ровно, откромсал-таки третью часть ковриги и, оглядев всех, сосчитав едоков, старательно поделил краюху на пять частей. Выбрав самый большой, серединный кусок и взглядывая то на отца с матерью, то на бабушку, не решаясь, кому вручить первому, он наконец робко протянул хлеб отцу:

— Это тебе, пап.

— Сначала матери следовало б, — поправил его Касьян. — Учись сперва мать кормить.

— Тогда уж первой бабушке, — сказала Натаха. — Бабушка пекла, ей за это и хлеб первый.

В разверстых глазах Сергунка отразилась недоуменная растерянность, но бабушка перевесила:

— Отцу, отцу отдай. Нам еще успеется, мы — дома.

— Ничего, — сказала Натаха, — всему научится. Давайте, ешьте, а то лапша простынет. Нате-ка вам с Митей по куриной ножке. Ох, что ж это я! А про главное и забыла...

Оделив ребятишек, Натаха принесла из кухни бутылку и поставила ее перед Касьяном.

— Что ж это Никифор-то, — сказала она. — А то и выпить вот не с кем...

— Ох ты, осподи... — вздохнула бабушка и уставилась на лежавший перед ней ломоть хлеба, забылась над ним.

Натаха, взглянув на свекровь, тихо обмолвила:

— Ну да что теперь делать. И нам к нему не бежать. Оно и всегда: радость — вместе, беда — в одиночку... А ты, Кося, выпей. Авось умягчит маленько.

Между тем, пока обедали, а заодно и ужинали, подкрались сумерки. Долог был для всех нынче день, а и он прошел, и бабушка, внеся самовар, запалила и лампу.

Сразу же после чая Митюнька забрался к бабушке на колени и, не доев пирога, прижимая его к щеке, обмяк в скором ребячьем сне. Перебрался, прикорнул к бабушкиному плечу и заснувший, набегавшийся Сергунок, и та недвижно сидела, терпеливо оберегая сон своих внуков.

Еще перед обедом выпив полстакана водки, Касьян заткнул остальное и составил бутылку со стола. Пить больше некому было, а одному не хотелось, не любил он прикладываться в одиночку. Но и та малость как-то сразу нехорошо ударила в голову, заклубила прежнее, уже передуманное, перевороошенное. Со вчерашнего Селиванова застолья он больше ничего не ел ни утром, ни днем, но и теперь, едва схлебнув малость горячего, отложил ложку и закурил.

— Да ты выпей, выпей-то как следует, — сама понуждала Натаха. — Глядишь, клин клином и вышибешь. Да, может, и поешь тади.

— Не тот это клин, — отмахнулся он. — Да и завтра вставать рано.

Так и сидел он, подпершись рукой, одну вслед за другой зажигая цигарки, лишь иногда словами обнажая непроходящие думы:

— Слышь, а корову, что б там ни стало, а побереги. Без коровы вам край.

— Да уж как не понять, — кивала Натаха.

— Родишь, а то мать прихворнет — ежли трудно будет на первый раз обходиться с коровой, к Катерине сведите. Опосля пригоните.

— Ладно, поглядим.

И еще через цигарку:

— А паче с сеном заминка выйдет, лучше амбар продать, а сена купить.

Уже при сонных ребятишках Натаха принесла сумку и молча принялась перекладывать в нее приготовленное на сундуке. Касьян глядел, как она сперва затолкала белье, всякую нескорую поклажу, сверху положила съестное, а саму ковригу приспособила плоским поддоном к спине — чтоб ловчее было нести.

— Не забыть бы чего, — проговорила она, оглядываясь. — Табак... бритва... Кружку я положила... Должно, все.

— Про то в дороге узнается, — отозвалась бабушка.

Встряхнув раздавшуюся сумку, Натаха затянула шнурок и набросила лямочную петлю.

И завязав, безвольно опустила руки, притихла перед белым мешком с вышитыми иа уголке буквами.

— Да! Вот что! — вскииул голову Касьяи. — Возьми-ка ножиицы, состриги мие с ребят волосков.

Натаха выжидательно обериулась.

— Карточек-то с них нету, с собой взять. Сколь говореио: давай в город свезем, карточкн сделаем. И твоей вои иема.

— Дак кто ж знал... — повинилась Натаха. — Разве думалось.

— Дак состриги, пока спят. С каждого по вихорчику.

Оиа принесла нз кутиика ножиицы и расстелила иа столе лоскут. Сергуиок н ие почуял даже, как щелкиуло у иего за ухом. Сероватая прядка ржаиым колоском легла на тряпочку. Митюиька же лежал неудобио, зарылся головеикой в бабушкиину подмышку, его пришлось повериуть, н он, иа миг разлепив глаза н увидев перед собой иожиицы, испугаино захныкал.

— Не бойся, малеиький, — заприговарнвала Натаха. — Я ие буду, ие буду стрнчь. Я только одну былочку. Одиу-разъединую травиночку. Папке иадо. Чтоб поминл иас папка. Пойдет на войиу, соскучнтся там, посмотрит на волосики и скажет: а это Митииы! Как он там, мой Митюнька? Слушается ли мамку? Ну, вот и все! Все и готово! Спн, золотце мое. Спн, малеиький.

И еще один колосок, светлый, пшеничиый, лег иа тряпочку с другого коица.

— Не попутаешь, где чей? Запомни: вот этот, прямеиький, — Сережии. А который посветлей, колечком, — Митин.

— Не спутаю.

— Я их заверну по отдельиости, каждый в свой уголок. Может, подписать, какой Митии, а какой Сережин?

— Да ие забуду я. Еще чего!

Натаха долго, вопрошающе посмотрела на Касьяиа.

— А меия?

Касьяи глянул, ответио вспахал лоб складками, ие поияв, о чем оиа.

В своей новой, просторно и наскоро сшитой кофте цветочками-повителью, иисколько не сокрывшей ее несоразмерной и иекрасивой грузиости, а лишь еще больше оказавшей ныиешиюю беспомощность, с маленькой для такого тела, округлой головкой, к тому же еще и простовато причесаииой, туго зашпилеииой позади роговым гребием, она в эту миниуту показалась Касьяну особеиио жалкой и беззащитиой, будто сиротская безродная дочка.

— На н меия, — повторила оиа, засматривая Касьяну в глаза.

— Что — тебя? — переспросил тот, все еще не поиимая.

— Отрежь... — понизнв голос, моляще шепнула Натаха и, выдериув гребеиь, тряхиула рассыпавшимися волосами. — Илн тебе не надо?

— Дак почему ж... — проговорил он и, вставая, не сразу выходя из застольиого оцепенеиия, смущению покосился иа мать: содеять такое при ией ему было не совсем ловко. Но та сидела по-стариковски застыло, склонившись над Митюинькой в рябеньком платке; темиые рукн, опутаиные взбухшнми венами, сцеплеино обинмали прниикшее ребячье тельце, н он сдержаиио прибавил: — Давай и тебя заодио.

Натаха протянула ему ножницы н, будто иа добровольное отсеченне, покорно склонила голову.

— Погодн... Так вот н сразу...

— А чего ж еще?

— Дак где стричь-то? — Неловко распялеинымн пальцами, скованиыми грубой силой, он разгориул мягкие, еще совсем детские подволоски над шейиыми позвоиками. — Тут, что лн?

— А где хочешь, — нетерпеливо отозвалась она.

— Ну дак как... Ты ж не дите. Состригу, да не там...

— А ты не бойся, — пробился ее жаркнй шепоток сквозь завесу ннспадавших волос. — Где поиравится. Везде можно.

Касьян осторожио, прокрадливо поддел под одну из прядок иожиичиое лезвие и сам весь стянуто напрягся, почувствовав, как Натаха от неловкого-такн щнпка вздрогнула иежной не загорелой на шее кожей.

— Дак и хватит, — сказал он, взопрев, словно выкоснл целую делянку.

— А хоть бы н всю острнг, — выпрямнвшнсь, она обеими рукамн отбросила волосы за спину и, словио выныриув из воды, встряхнула головой, через силу засмеявшись: — Все н забери. Я н в платке до тебя похожу, моиашкой.

— Буровь, — Касьян положнл выстрижеиный завиток на середину тряпочкн — между Мнтюинькииым и Сергуиковым.

Натаха потом удивлялась своему хвостику, сохраиившемуся в этом ее тайиичке от прежией детскостн, который и сама отродясь никогда ие видела н который, оказывается, почти ничем не отличался от Митюинькииого, разве что был поспелее цветом.

— Теперь и ие спутай, — сказала оиа. — Дай-ка я свон узелком завяжу. Как глянешь — узелок, стало быть, я это...

Касьян ие ответил, потяиулся под стол за бутылкой и, налив себе еще с полстакаиа, ие присаживаясь, отвериувшись, выпил.

— Ну ладио, — объявил ои, утершись ладоиью, и забрал со стола кисет. — Кажись, все...

Холодно обомлев, поияв, что приспел конец ихиему сидению, конец прошедшему дию и все-

му совместиому бытию, Натаха робко попросила, хватаясь за последнее:

— Поешь, поешь. Что ж ты ее, как воду...

— Чегой-то иичего не идет.

— Ну, хоть чаю. Ты и пирожка не испробовал. Твои любимые, с горохом.

— Да чего сидеть. Сиди не сиди... Пошел я...

Потоптавшись у стола, оглядев растревожеиную, но так и не съедеииую ии старыми, ии малыми прощальиую еду, ои нерешительио, будто забыл что-то тут, в гориице, вышел.

Натаха, как была с распущениыми волосами, не успев прихватить их гребнем, проводила его померкиувшим взглядом, не найдясь, что сказать, чем остановить неумолимое время.

Поздияя летняя заря погасла без долгих раздумий, со света двор показался кромешно темиым, и глаза ие сразу обвыклись, не сразу отделили от земли белые груды притихших гусей и неясиое пятно беспокойно вздыхавшей под плетнем, должно, еще не доеиной коровы. Но сразу, еще с порога, учуялось, как в паркой ночи размореиио, на весь двор, дышали дегтем подвешеииые сапоги.

Не зажигая спичек, Касьян ощупью пробрался к саиям, разделся и залег в свое опрохладневшее ложе. Но сразу уснуть не смог, а еще долго курил от какого-то внутреннего неуюта, немо слушая, как само по себе шуршало сено и похрустывал, покрякивал перестоялыми на диевной жаре стропилами сарай, как разиоголосо встявкивали собаки, наверно, в предчувствии скорой луны. И как сквозь собачий брех где-то на задах, скорее всего на Кузькином подворье, ржавыми, замученными голосами орали:

Последний нонешний денечек
Гуляю с вами я, друзья...

Уже забываясь, он безвременно глядел в глухую темень нависшего сенника, н в ожиданин окончательного забытья, когда уже ни о чем не думалось, а только пусто, отключенно стучало в висках, ему вдруг почудился, будто из давно минувших дней, из далекого детства, н не сразу осознался явью знакомый и убаюкивающий звон ведерка под нетерпеливыми молочными струями. И то ли уже тогда же, ночью, то ли на самой утренней заре внял сторожкий Натахин шепот:

— Это я, Кося...

14

Он потом не слышал, как за сарайной перегородкой, забив крыльямн, горласто, почти в самое ухо взыграл петух, которого прежде, в ночном, узнавал от самой Остомлн, — так тяжек и провален был сон, простершийся б до полудня, еслн б не вставать, никуда не идти. Но так и не спавшая, кое-как приткнувшаяся в розвальнях Натаха уже в который раз, привстав на локоть, принималась расталкивать его, трепать по щекам, озабоченно окликая:

— Пора, Кося, пора, родненький.

— Ага, ага... — бормотал он одеревеиелыми губами, жадно, всей грудью вдыхая, впнтывая в себя последние минуткн сиа, бессильный пошевелиться.

— Вставай! Глянь-ка, уже и видно.

— Счас, счас...

— Тебе ж к лошадям надо, — шептала она, чувствуя свою скорбно-счастливую вину: не приди она сюда после дойки, не отними тогда своими поздними ласками и без того недолгую летнюю ночь, теперь он не мучился б этим сморенным, всезабывающим сном. — Слышь, Кося, ты ж к лошадям хотел...

— Ага, к лошадям.

Оиа послюнила палец и мокрым провела по Касьяновым тяжелым, взбухшим векам. Тот замигал, разлепил ничего не видящие, ничего не поинмающие, младеически отсутствующие глаза. И лишь спустя в них проголубела какая-то живиика, еще не вспугнутая осознанием предстоящего, еще теплившая в себе одно только минувшее — ее, Натахино, умиротворяющее в нем присутствие.

— Уже? — удивился он свету, ие понимая, как же так, куда девалась иочь.

— Уже, Кося, уже, голубчик, — проговорила она, спуская босые ноги с саней.

И он, накоиец, осмыслив и бившнй в чуть приоткрытые ворота теплый утренний свет, и Натахин тревожный шепот, приподнялся в санях.

— Сколько время?

— Да уж солнце. Седьмой поди.

— Ох, ты! Заспался я. — Он цапнул в головах брюки, отыскивая курево.

— Сразу и курить. Выпей вои молока.

— Ага, давай, — послушио кивнул Касьяи, смутно припоминая вчерашний ночной звон подойника.

Ои принял от Натахи ведро и через край долго, иенасытно попил прямо в санях.

— Во! — крякнул он, оживая голосом. И хотя не успел проспаться и все в нем свинцовело от прерванного сна, на душе, одиако, уже не было прежней тошнотной мути, н он попросил озабоченно, будто собирался в бригадный наряд: — Подай-ка, Натах, сапогн.

Потом, поочередно засовывая ладно обмотанные мягкими, хорошо выкатанными портянкамн ноги в пахучие голенища, сонно покряхтывая, сам еще в одних только брюках н нижней рубахе, урывкамн говорил:

— Я с тобой не прощаюсь... Еще свиднмся...

Натаха присмирело глядела, как ои обувался.

— И детншек не колготн... Пусть пока поспят.

— Ладно...

— Потом приведешь нх к правленню... Поняла?

— Ладно, Кося, ладио...

— Часам к девяти. Мать тоже пусть прндет...

Он встал, притопиул сапогами: ногн почувствовали прочиую домовитость обужн.

— А вдруг там больше не свидимся? — думая иад прежиим, сказала оиа поникшим голосом.

— Куда я денусь,— киiул ои н вышагнул нз сарая, иа ходу иабрасывая вчерашиюю черную рубаху. — Подай-ка пиджак с картузом. А то я в сапогах, нашумлю. И сумку.

— Дак что ж в дом ие зайдешь? — Натаха следовала за ним, держа под шеей стнсиутые ладони, будто ей было холодно. — Больше ведь не вериешься... И не поел на дорогу.

— Когда теперь есть...— проговорнл он, торопко застегивая иа рубахе мелкне иепослушные пуговицы. — Покуда туда добегу, да там...

— Ну как же... С домом хоть простнсь...

— Дак еще ж, говорю, свнднмся.

В дом ему ие хотелось: ие сознавая того, невольио оберегал ои в себе ту прншедшую к нему ровность, с какой сейчас, ие тратя себя, лучше бы за калнтку — н все, как обрезал. Приглажнвая непрнбраниые волосы, Касьяи на носках переступнл порог еще по-утреиieму тнхой нзбы, заведомо томясь горечью увидеть в эту последиюю трудиую для него миiуту не столько самих мальчншек, сколь старую мать. Ребятишек — ладио: поцеловал бы соиiых да н пошел, но мать, подн, уже давно топчется, вон н гусей с коровой нет во дворе, н он вошел в дом, весь виутреине напряжеиный н стяиутый.

Мать он увидел в горнице перед распахиутым суидуком. Не замечая его, она копалась внутрн, вытаскивая из бокового ящичка для мелочн какие-то узелкн н свертки. И Касьян, глядя на ее согбеиную спину, не посмел оклнкнуть, пока оиа сама, почуяв чье-то присутствие, не повела взглядом в его сторону. И взгляд этот, оторваниый от суидука, был какой-то чужой, не призиававший Касьяна.

— Ну, мать, пошел я,— негромко, с заведомой бодрецой объявил он, рассчитывая и тоном, и вндом смягчнть н облегчнть ей это прощаиие.

Ныиешней ночью оиа, наверно, совсем не спала: жухлое, бескровное лицо ее еще больше обрезалось; жидкие изиошеиные волосы, сумеречные впалости глаз н беззубого рта скорбно обозиачнлн очертаиия проступнвшего праха, н Касьян только теперь неутешно осозиал, как враз состарнлась его мать, как блнзка она к своему краю. А оиа, озабочеииая чем-то своим, то лн вовсе ие слыхала, то ли не поияла Касьяновых слов, сказала ему свое:

— Хотела иайтнть... Да вот, внщь, не иайду, запамятовала. Наталья, ты, часом, не видела, был тут у меня обвязочек...

— Потом, мать, потом... — перебнл Касьян. — Идтн надо. Побег я.

— Побег? — повторила оиа за Касьяном, все еще странно отсутствуя, дознаваясь взглядом какой-то своей пропажн. — Уже н пошел? Ох ты, осподи! А я-то хотела тебе найтнть. Взял бы с собою... Сколь берегла, от самого твоего рождения. Про такой-то случай. Да, вишь, не уберегла. Памятн совсем ие стало. Да как же это пошел? Деток не повндавшн... Снчас, сичас побужу. Ох, горе, вот горе...

— Не надо бы нх,— попробовал отговорнть Касьян, проследовав с ней за полог. — Я пока на конюшню токмо. Опосля еще свнднмся.

— Как же не надо, как же это ие иадо? Уходишь ведь! Наталья, подиимай днтев, чего ж ты, как не своя. Просись, Митрий. И ты, Сергий, не спн. Будя, будя вам. Проспите отца-то. Ой, лнхо! — Оиа подхватила на рукн младшего, все еще ннкак не хотевшего держать голову, безвольно ронявшего ее на бабушкнио плечо. — Да что ж вы, как маку опились. Опамятуйтеся, сказано. Батька вон уходит, а вам бай дюжа. Прийдет лн опять...

И только теперь, будто ударнвшнсь об это «опять», бессильиая высказать боль свою и смятеиие, молча заплакала, смяв ветхие морщиiистые губы. Пришел в себя и, еще ничего не поияв, сразу же заревел и Митюiька.

— Ох да голубчикн мон белы-ы... — наконец вырвался на волю бабушкин взрыд. — Да сыиочки ж вы мои последнии-н...

Глядя на нее, крепившаяся все эти дни Натаха подшиблеиио ойкнула, надломилась, пала, не блюдя жнвота, в Сергунковы ногн, беззвучно затряслась, задвигала скрипучим топчаиом. Растревожеииый Сергунок нспугаiio отобрал у матери иогн, подскочил, прнсел на постели и теперь, заспаниый н сумиой, понуро молчал, ии иа кого не глядя.

— Ох, да иа то лн я вас, сыночкн, лелеяла-а,— раскачнвалась вместе с Митюiькой бабушка. — На то ль берегла-а... на черну да на бяду-у... — И, заметив насуплеiio молчавшего Сергуика, вдруг, в плаче же, запроснла-запричетывала: — Плачь, плачь, Сергеюшко-о... не молчи, не томись, каса-а-тнк... Да нешто не видишь, горя какая наша-а...

Она потяиулась к Сергунку незрячей, слепо нскавшей рукой, но тот уклоиил свою голову, нелюднмо отшатиулся от непонятно крнчавшей бабки.

— Да что ж ты не плачешь, упорна-ай... Пожалей, пожалей свово батюшку-у... Ох, да на што сиротит он нас, на што спокида-а-нть...

Не хотел ничего этого Касьян, надо бы уйти сразу, да вот стой теперь, слушай, и он, чувствуя, как опахнуло его изнутри каким-то тоскливым сквозняком, вышагнул и сдернул с гвоздя пиджак. И уже одетый, не таясь пробужденной избы, гулко топая сапогами, вернулся в горницу за мешком.

— Ну все, все! — оповестил он, засовывая рукава в мешочные лямки. — Наталья! Будя, сказано! Бежать надо.

Перетянутый лямками по черному пиджаку и черной рубахе, уже какой-то не свой, непривычный, Касьян взял у матери Митюньку, присел с ним на сундуке. Сергунок соскользнул с топчана и, босоного прострочив горницу, прилепился рядом.

— Сядьте, посидим, — объявил Касьян.

Мать и Натаха, всхлипывая, послушно присели.

И опять стало слышно, как в едва державшейся, насильной тишине стенные ходики хромого, неправедно перебирали зубчики-секунды...

Пытаясь все закруглить по-доброму, не дразнить больше слез, Касьян наконец первый нарушил эту немую истому, воскликнув с шутейной бодрецой:

— Ну, Сергей Касьяныч! Прощевай! Чегой-то штанов не надеваешь? Пупком на всех светишь? А? Давай-ка, хозяин, руку, досвиданькаться будем.

Сергунок, хмуря белоперые отметины бровей, замешкался, не сразу подал руку и не шлепнул ответно, как Касьяну хотелось, а вяло, чем-то неволясь, положил ладошку на поджидавший его широкий плот отцовской пятерни.

— Эвон какая ручища-то! — продолжал бодро играть Касьян. — Ну прямо мужицкая! Топором токмо махать, або косой. Ну, дак и уступлю тебе все свое. Избу вот... Струмент всякий... Поле — сам знаешь где. Хозяйствуй знай! А?

Пока Касьян говорил, удерживая сынову руку, тот все ник и ник взъерошенной головой, и никак не удавалось Касьяну заглянуть ему в глаза, чтоб их запомнить и унести в памяти.

— Подойдет время — учись, старайся. Ага? Постигай, наматывай. Где, к примеру, немец обретается, что это за земля такая. Чтоб знать наперед, понял? — Он говорил случайное, не зная, что еще наказать непонятно затворившемуся мальцу. — Ну дак, ясное дело, перво-наперво мать слушайся. И бабушку. Это уже само собой...

Сергунок, не убирая руку с отцовской ладони, молчал, вздув наспанные губы.

— Да чего с ним сделалось-то? — охнула бабушка. — Как окаменел малый. Ты скажи, скажи слово-то отцу. Нешто гоже эдак-то немтырем молчать. Экой упорной! Хватишься потом, да некому будет...

— Ладно, мать, ладно. Не замай его. Это со сна он... И ты, Митрий, тож слушайся тут, не докучай. — Касьян притянул на грудь младшенького, потрепал, потискал и, поцеловав трижды в непросохшие глаза, опустил на пол. — Ну, ступай к мамке, ступай!

Бабушка снова украдкой прослезилась какой-то остатней слезой, не одолевшей морщинок: главные свои слезы, никем не слышанные, никем не виданные, она выплакала еще до этого дня в одиноком своем запечье.

— Ну дак пора мне, — опять объявил Касьян, вставая с сундука и озирая напоследок углы и стены. — Миром живите.

Поочередно пообнимавшись с женой и матерью, которые снова ударились в голос, оделив их, не слушавших, торопливыми утешными словами, какие нашлись, какие попадя подвернулись, Касьян с перхотой в горле, стиснув зубы, нырнул в горничную дверь, схватил по пути картуз с кухонного простенка и вылетел во двор. Вслед на крыльце засуматились, запричитали, но он, кургузясь под тяжестью сумы, крепясь не обернуться, через силу порывая липучие тенета отчего дома, превозмогая хватавшую за ноги жалость к оставшимся в нем, топча ее сапогами, — крупно, неистово пошагал, чуть ли не побежал к задней калитке.

И вдруг, уже ухватясь за спасительную щеколду, услышал звеняще-отчаянный голосок, пробившийся сквозь бабьи вопли:

— Папка! Папка-а!.. Я с тобой!.. Я с тобой, папка-а-а!..

Остановился Касьян, похолодел, сжался нутром, будто левым соском напоролся на вилы: перед сенечным крыльцом, отбиваясь от бабкиных и материных рук, барахтался на земле Сергунок, так и не успевший в суматохе натянуть своих покосных штанов — крутился верткам вьюном, бил-колотил ногами, тянул к нему руки.

— Папка-а! Я с тобой!

Касьян хотел уже было вернуться, как-то успокоить мальца, но на него замахали сразу и мать, и Натаха, закричав: «Нельзя, Касьян! Не вертайся ради бога!» И он поспешно рванул калитку.

И когда, не обращая внимания на ветки, обдираясь вишеньем, уходил садом, и когда потом косил напрямки по чужой картошке, его долго еще настигал и больно низал этот тоненький вскрик, долетавший с подворья:

— А-а-а...

15

Все это время, готовясь к последнему дню, наперед казнясь его неизбежной надсадой, Касьян все же мыслил себе, как пройдет он по Усвятам, оглядывая, запоминая и прощаясь с деревней, торжественно печалясь про себя,

оттого что каждый его шаг будет необратим, а путь его неведом; как выйдут за калитки остающнеся тут старнкн, почтнтельно обиажат перед ним головы, иаговаривая разное, вроде: «Час добрый тебе, час добрый! Не сплошай там, вертайся!»; как будут вослед торопливыми жмеиьками сыпать кресты иа его заплечиую суму глядящие в окна старушки, а деревенская детвора молчаливым поглядом проводнт его, ступающего в последннй раз мимо нзб, ворот и палисадииков.

С тем бы н уйтн, переступить усвятскую черту...

Но прншел этот день, н бежал Касьян задворьями, обрывая сапогамн ботву, сшибая снреневые соцветья июльской картошки, не замечая, что бежнт, мелькая далеко видиым белым мешком. На Полевской улице, против Кузькиной нзбы, оглядываясь назад, на Сергуиков крик, едва ие угоднл в какую-то ямииу, вырытую рядом с тропой, н ие сразу понял, к чему оиа тут, для чего оиа Кузьке. И лишь когда попалась н другая, н третья, — вспомиил, что и сам вырыл такую же под свонми окнами, когда собнрались столбить радио. Ненужные теперь ямы желтелн взрытой глииой почтн против каждой нзбы, н он, обегая нх, с непрнятным чувством подумал, что следовало бы опять засыпать, заровнять перед уходом: негоже, нехорошо оставлять заготовлеииую яму, зиявшую протнв двора. Все равно теперь некому будет нн ставнть столбы, нн тяиуть проволоку.

На Селнвановом свертке, одолев предел цепенящего тяготеиня, Касьян обессиленно н в то же время облегченно перевел дух. Под потным обручем картуза запалеино бухалн вискн, тело колотнло мелким ознобом. В последний раз оглянулся назад, ие нашел своего двора за сокрывшимн его соседнимн садами, да особеиио н ие вглядывался туда, даже как-то рад был, что уже не вндно, что иаконец обрезалась пуповнна, н он теперь сам по себе, с одной только своей ношей.

Деревня в этот уже нераний час была затаенно иема н безлюдиа: все, кому предназначалось ндтн, еще доснживали свое по домам, обряжались в походное, завтракали, давали последние заветы, еще только подходилн к прощальной маете, бабьему крнку, и Касьян, окинув в последний раз пустую, будто выморочиую улнцу, свернул в заулок.

На все том же конторском выгоне, в полуверсте от деревин, вставала ровной соломеиной крышей новая коиюшня, затеянная там по генеральному Прошкииому плану. Рядом с ией желтела выведениыми стропнламн другая такая же хоромнна — под молодняк. Оттуда натягивало радостным духом лошадиных стойл, к которому подмешивался запах уже обсохшего н засочнвшегося степной горечью низкорослого полынка, н Касьян, вольно расслабясь, распустив давнвший его ворот, пошел уже ровиее, успокаиваясь н обретая себя.

На выбитом выгоне возле конюшии сгрудились брнгадиые телегн, иынче их еще никто не разбирал, н, видио, теперь уж ие троиут за весь деиь. Возле телег Касьян увндел дедушку Селиваиа, долговязого и молчаливого деда Симаку и босого, в коротковатых штаиах Пашку Гыгу. Дед Снмака, подважив плечом бок бестарки, сдвинул с осн заднее колесо, давая Селиваиу промазать квачом ступнцу. Пашка Гыга, присев на корточкн, с детскнм любопытством заглядывал в чериую дегтяриую дыру колеса. За его спиной поверх выпущенной рубахн висело иа бечевке вытесанное из доски аляповатое подобие ружья.

Пашка Гыга первым уловнл шагн н, недобро остановив на Касьяне вытаращениые глаза, должио быть, ие узнавая, цапиул было с плеча ружье, ио, распозиав-такн прежиего конюха, подскочил, миролюбнво н заискнвающе протяиул пухлую бескостную ладоиь.

— А мы тут мажем... Чтоб иемец ие услыхал, — доложил он н, широко распустив сырой губастый рот, иепрнятно, всемн виутреииостями гыгыкнул.

— О, гляиь-кось! Вот он, воитель! В полном соборе! — обрадовался дедушко Селиван, любовно осматрнвая Касьяиа. — На вот дегтярочку, подмажь, подбодри ходки.

— Уже смазаиы, — сдержанио ответил Касьян, мельком взглянув на свон успевшие запылнться, потерявшие вид сапоги.

— Тадн ладно, ежлн так. Догорела свеча до огарочка, пора н выступать. Дожжа вроде не будет.

Дедушко Селиваи н сам вырядился в иевесть откуда взявшиеся у него чоботы — пустоносые, с заплатами иа обоих скульях, но вволю смазаиные и расчищеиные сукоикой. И рубаха иа ием была ие та — мелким пшеицом по блекло-сннему застираииому ситцу, иеглажеиая, ио чистая.

— А Ваиюшка-то Дроиов еще вчерась иадвечер улепетнул, — сообщил он со свежей утренией бодростью. — Одии, да пеший. Да-а... Побег, побег, соколик... Загляиул я к ему перед тем — молчит, цигаркой коптит, а сумка уже у порога. Так был сух, а то и вовсе сухменью взялся, исхудал бедой. Вот как запекло-то мужика! Погоди, говорю, завтра подводой доставим. Ни в какую! Каждый час, говорит, дорог. Ну да уж, поди, и тамотка, трндцать верст отсчнтал по прохладцу. А то небось уж и в ашалоне едет.

— Моя бабка говорнт, это его смертушка к себе кличет, — сказал Пашка Гыга. — Иди сюды, иди сюды — пальцем, гы-гы-гы.

— А иу! — повел бровью дед Симака, и Пашка опаслнво отскочнл, продолжая мокро-

ротно лыбнться. — Выправь-ка лучше телегу на выезд.

Пашка готовно облапнл дышло н поволок бестарку на свободное место.

— Двух нзвозов хватнт лн? — спроснл дедушко Селнван. — С полста мужнков ежлн?

— Хватит. — Дед Симака кнвнул-клюнул крупным вороньнм носом, зачннавшимся безо всякого перехода прямо в самой пуще жестких бровей. — Хватит и двух — ие иа Азов поход.

— Тебе, Касьянушко, каких прикажешь запречь? — весело поинтересовался дедушко Селнван. — Выбирай любых, иапоследок проедешь.

— Все еднно. Не с бубенцами скакать. Коней-то покормили?

— А то как же, — степенно кивиул дед Снмака, прннявшнй конюшенные бразды.

— Засыпали, засыпалн овсеца, — уточннл дедушко Селнван. — Жую-ют! Я ить сюда чуть свет прнскакал. А топчан сладим, дак и иочевать тутотка стаиу.

— Овес бы поберегли. Не зима — всем овес травить, — заметил Касьяи. — Теперь сыпь да оглядывайся.

— Всего по картузу и плеснулн. Нехай разговеются. В такой-то день! С маю иебось на одной траве. Как посевную пошабашнлн, с той поры, поди, н ие перепадало. А два дни дак и вовсе в ночном ие бывали, ие зиамо, чем и сыты.

— Это наладится, — покашлял дед Снмака. — Ныиче с Павлом и сгоияем. Некому ж было. Пришел, а кони брошеиы, доски грызут. Лобов на дежурство не вышел, его день был. И хвуражиров призывают. Сказать, дак люди не виноваты. Им тож собраться иадо. Благо, хоть вон Павел попить привез.

Его жндкие восковые щеки, беспорядочно нссеченные годамн, непроизвольио вздрагивали от какого-то тнка, будто держал он во рту зубиое полоскаине и гонял туда-сюда дием и ночью — прихварывал старик, маялся грудью.

— Позавчоры здучит в окно Дроиов, — сказал ои, откашлявшись. — Иди, говорит, побудь иа коиюшне. Пока, мол, кого подыщем. Ну дак чего ж пока? Пороблю, раз иадо. Ишшо ноги иосють. А ногам все одно где топать — дома ли, тут лн. Мне б, конешно, старнков в подмогу. Ну, да я сам и поговорю с которыми.

— Дак н я пособлю чего ин то, — отозвался дедушко Селнваи. — Вот солдатнков провожу, свезу торбы да и переберусь к тебе иасовсем. Э-э, Серафнм, не журись. Кабы наша там-то взяла, а тут мы присмотрнм. — И распорядительно крнкиул: — Павел! Слазь-ка, голубь, иа сеновал, поглядн, иет ли сенца иа повозкн послать.

Пашка, сняв ружье н прнставнв его к конюшенной стеие, ловко взбежал по стремянке.

— С сеном нонче разор, — проговорнл дед Снмака, уставясь в землю. — Ладно, ишо дожжей нет...

Пока старикн возилнсь со второй повозкой, Касьян заглянул в конюшню. Но вошел не сразу, а сперва постоял у порога, всматрнваясь вовнутрь с чувством недавнего хозяина, иевольно прнмечая, какая поруха успела завестнсь в его отсутствие. Со света в коиюшне было сумеречно и терпко. Солнечиые лучи, бившие слева в узкие оконца, сизо дымились испариной иад кучками вычнщениого иавоза, сваленного в главиом проходе. Во время чистки Касьян всегда распахивал и те, и другие ворота настежь, давал погулять свежему ветерку, ио иынче дальние двери были заперты, видно, дед Симака остерегался сквозияков. Войдя, Касьян загляиул в шорницкую, отгорожеиную при входе. Там тоже иаметились перемеиы. Деревянный ларь с инструментамн, седельиым войлоком и всякой починочиой обрезью, иа котором знмой конюха коротали дежурства, был отодвннут, а иа его месте стоял еще ие доделанный топчаи, тогда как вокруг иа полу валялнсь обрезки брусков и теса и было иасореио щепой и опилкамн. На столе вперемешку с рубанком и долотамн стоял чужой незиакомый чайиик и глнияиая черепушка, прикрытая лопухом. Над всем этнм, под узкнм, таким же, как и у лошадей, оконцем торопко мельтешнли жестяиые ходики, должио, принесеиные дедом Снмакой из дому. Дед Симака утверждался в шорном кутке прочно и осиовательно, будто въезжал в иовое жилье, ио пока здесь было мусорно и иеуютио, и все это кольиуло Касьяна, подчеркнув его окончательиую отторжеиность и иепрнчастность к конюшениому бытию. И было странно и неприятио слушать, как где-то иа чердаке топал, стучал пятками разговаривавшнй сам с собой Пашка Гыга.

За высокими перегородками, так что были видны одни только стегна и холки, иаголодавшиеся коии шумио мололи сразу миожеством жерновов, довольно пофыркивали, секли по стенкам хвостами. Касьяи тихо, будто чужой, прошелся вдоль стойл, заглядывая через прясла. Заиятые едой, уткнувшись в кормушки, лошади не замечалн его. Касьяи переходил от одной к другой все с тем же чувством своей отторженности, и, когда впередн мелькнула молочиая спнна его собственной кобылы, ои родственно затеплился и, минуя остальных лошадей, пошел к ней поглядеть иапоследок и попрощаться.

— Даиька! Даиька! — позвал ои еще нздалн.

Незадолго до колхоза, продав состарившуюся отцову лошадь и прнбавнв подкопленых деньжат, занмел он иекрупиую, ио броскую молодую кобылку. Была оиа редкой буланой мастн, с белымн аккуратиыми копытцами, что

н перевесило все его раздумья и колебания, и за этот ее теплый молочный окрас, за всю ее девичью нгрушечность назвал он кобылу Данькой, подразумевая под этим, что дана ему на счастье. Правда, выглядела она в тот покупной момент тощой н необнхоженой, ио худоба была не старушечья, поправимая в хороших руках, и он весь ушел в заботы о новой скотнне. Увел ее в безлюдный угол займища, сплел себе там шалаш н жнл чуть ли не пол-лета, выгуливал свою Даньку иа вольной траве, не докучая работой. Только знай гуляй себе, ешь, чего хочется. И Данька на глазах стала выладннваться, хорошеть, заволннлась гривой, заходила остренькими ушами с живым интересом к миру. Напоследок Касьян выкупал ее в Остомле, отчистнл белым речным песком н еще раз выкупал, н, неузнаваемую, сам в душе с праздником, привел во двор. Собрал стол, позвал мужиков, те нахваливалн: «Хороша, хороша, ио да внть корова — молоком, а конь — работой. Спробовать бы надо...» — «Спробуем, как не спробовать, — радовался Касьян. — Для того и куплена». На другой день съезднл к Афонину отцу, подковал на все четыре высоконькнх, стаканчнкамн, копытца. После того разобрал старую телегу н на прежннх осях н железной оснастке приялся мастерить новый полок. Взвешивал и обдумывал каждую дощечку, каждую спнцу в колесе, чтобы возок был и крепок, н не громоздок, — ладнл в самый раз по кобылке.

Все у Касьяна в тот год вроде бы ладилось и ладно складывалось для ровной жнзнн в посильных трудах, но вот завелся в Усвятах колхозец н стал поперек всех его планов, расколол мысли надвое. Что это за новшество, многим не особенно было понятно, и поначалу принимали его ие все и не сразу. Мужнкн при хозяйствах осторожничалн, тянулн время, кое-кто распродал со двора лишкн на тот случай, что еслн придется вступать, то уж с меньшей потратой. Касьяну колхоз тоже показался не ко времени, да н кое-кто не советовал вязать себя с ним. Но все ж для себя нашел он иной выход, казавшийся ему разумным н справедливым для обеих сторон. О себе заявил так, что-де ие против вступить в колхоз, но с тем условнем, чтобы и конь, н полок оставались прн нем, на его дворе, а он, когда надо, работал бы вместе с конем на общнй котел. Уже тогда севшнй правнть артелью Прошка показал ему обидную дулю, сказавшн, что такнх хитропопых подрядчнков ему ие надо: вступать так вступать, а не вступать — так н нечего голову морочить... Хорошо ему, Прошке, фнгу показывать — сам-то он безлошадио, налегке, вступил, н Касьян рисовал себе невеселую картину, как кто-то чужой запряжет его Даньку, навалит на телегу сверх всякой меры н совести, огреет кнутом, бестолково задергает вожжами, заорет матерно и не пособит, не слезет с повозки, когда его, Касьянова, Данька, выворачивая нз суставов иоги, будет полоумио выпластываться, лезть из хомута иа последнем узволоке. Кто ж побережет не свое, думал он тогда. И подавая, накоиец, заявленне, поставил колхозу новое условне: вступить он не возражает с конем н с телегой, даже прибавнт к тому соху, хорошую железиую борону н пару полотен кос, но чтоб иепременно назначнли его конюхом. «Да что ты все ультиматумы ставнщь! — вскинулся тогда Прошка-председатель. — Пан-барон нашелся, понимаешь!» Но, вспомннв, что Касьян отбывал действительную фуражиром, согласнлся удовлетворнть его, как ои выразился, «каприс» н назначнл на должиость временно, до общего собрания — как оно скажет. С той поры так н пошло: коиюхом да конюхом — вот уже целый десяток колхозных годов. Сперва рядовым, потом и старшим. Свою хозяйскую дотошность Касьян, обвыкнув в колхозе, перенес н на общественное добро: терпеть не мог нзодранной и пересохшей сбруи, расхристанных хомутов, как попало сваленного лошадям сена, ворчал нз-за каждой потеряиной подковы, и не дай бог, если кто возвернет с поля коня с потертой холкой.

За время своего конюхования привязался он ко многнм лошадям, нных выходнл с сосунковой поры, нные выдурнлнсь почнще Даньки. Мечталось завестн даже донцов, подбивал на это Прошку-председателя, но тот, узнав, сколько стонт чнстокровная матка, замахал обеими руками, отвернул нос: «Иди, ндн, не дурей! За такне деньги два трактора можно купить». Но Касьян не отказался от своей задумки: тем же летом выбрал самую ходкую и статную кобылу, Челку, н, не сказав никому, махнул на ней в Подзвонье на конный завод. За хороший магарыч, так что н сам вернулся без шапкн, поставил ее с запнсным жеребцом Перепелом, и объявилась первая в Усвятах дончиха. Вон она стоит в шестом стойле — подпашистая, сухомордая, в белых чулках. И назвал он ее по всем заводскнм правилам: от клички отца взял первую букву «П», приставнл к нменн матерн, и получилось, как влилось — Пчелка. Всего пока полукровка, но уже по всей справе видать, что не простого замеса лошадка — красота с огием пополам! Прошка-председатель прнсматривался, удивлялся: «Что за краля? Откуда такая?» Должно, метнл в свои бегунки. То-то что н оно — откуда... Не случись война, на другой год опять бы съездил в Подзвонье, уже на самой Пчелке, чтоб еще больше прнблизнть потомство к настоящим кровям. Да, видно, конец всему, того глядн, н самую Пчелку вот-вот заберут...

Были у него и еще конькн хороших статей, стригунки, часами б глядел на сорванцов, как вынашиваются они, на скаку покусывая друг

другу холки, или встают друг перед дружкой на дыбки, под грудь загибают шеи. В табуне что в колоде: есть и козыри, есть и шестерки — всякие, но Данька шла по особ статье: своя лошадь.

Четырнадцатое лето дотаптывает его Данька — три до него да десяток трав под его доглядом. Правда, росточком так и не вышла и даже вроде как ниже стала, оттого что раздалась задом, разломилась повдоль сытой спиной, — от былого, конечно, ничего не осталось, но масть и теперь красит — видная лошадь! В первые годы, уже будучи колхозным конюхом, набрасывал Касьян на нее седло покрасоваться перед миром, когда выгонял табун в ночное, дескать, знай наших! Потом растолстела, разбочкалась, под седлом неудобна стала, и Касьян года три как пересел на рослого Ясеня. Хотел и дальше вести от нее редкую масть, да не сыскал пары, такого же молочно-топленого конька. А хорошо б было! От своих же, усвятских, несла она всякий разнобой, двух жеребяток почему-то сбросила, а главное — получались они и самой мельче. Какие-то нелады у нее с племем, не способная к этому. Сказать по совести, малость просчитался он с ней: вгорячах, когда покупал, мерещилось большее. Масть-то масть, да не слезть в грязь. Оказалось, лошаденка-то без старания, норовом себе на уме — лишнего не положи, в паре без кнута валек не натянет, а чуть что — и куснуть горазда. То ли была от роду такой, то ли уже здесь, в колхозе, забаловалась. В своем хозяйстве эта порча сразу бы и обнаружилась, а тут, за другими лошадьми, как-то не примечалось. Да кто ж знал! Иной вон и бабу за одни глаза берет, размечтается, думает, царевну ухватил, ни у кого такой нету... И все же любил ее Касьян, может, потому, что сам на ней не пахал, не сеял, а только ходил, да чистил, да глядел на буланую шерстку. Между тем мужики брали ее в наряд без особой охоты, когда уже выбрать было не из чего, и это задевало Касьяна. Знал он и про то, что бивали ее, с глаз отъехавши, но промалчивал. За другую лошадь поднял бы шум, начертыхал бы по самую завязку, а тут — молчок, неловко было за свою лаяться. Иной раз вернется кобыла на конный двор, а на пыльном гузье — свежие полосы, следы осерженного кнута. Может, и за дело била, да и как не за дело, но Касьян состроит вид, будто не заметил, замкнет рот, а в самом заворошится обида пополам с жалостью. И, жалея, потом в ночи украдкой подсыпет, хоть на пригоршню, да овсеца побольше, а сенца помягче...

Но вот стоял он нынче с заплечным мешком перед ней, и та не заметила, не оторвалась от чужой подачки.

— Данька, Данька! — позвал он еще раз, играя голосом, не зная и сам, чего добивался от лошади.

Кобыла, услыхав привычный оклик, подняла голову, свернула глаз к заплечью и ненадолго, непомняще посмотрела на хозяина, деловито, размашисто жуя, гоняя рубчатые желваки по широким салазкам. Белое овсяное молоко проступило в ее сомкнутом сизогубом зеве.

— Это я! Али не видишь? — поспешил удержать ее взгляд Касьян и зачем-то посвистел, как при водопое. Но та, еще не дожевав, жадничая, опять сунулась в обслюнявленный ящик.

— Эк поспешает! — обиделся Касьян. — Успеешь еще, день велик. Нынче и вовсе никуда не тронут. Некому трогать. Нынче у тебя пустой день.

Кобыла продолжала хрумкать, сопя и шарясь мордой по опустевшему ящику, и Касьян, дожидаясь, пока она управится и вскинет голову, униженно рассматривал приколоченную к столбу табличку. Когда вселялись в новую конюшню, он собственноручно выстругал эту досочку и старательно написал чернильным карандашом крупно, с замысловатыми завитками эти четыре буквы — «Даня». Потом какой-то лихоман перечеркнул букву «а», а сверху надписал «у», и Касьян ночью выскребал ножом эту обидную, насмешливую букву.

— Ну дак чего... Пошел я... — растерянно проговорил он, оглянувшись на выход, мимо которого как раз промелькнул Пашка с охапкой сена. — Ладно, жуй, раз такое дело. Может, больше и не доведется. Овсеца-то. Без меня теперь будешь.

Он потянулся через прясло, прощаясь, почесал пальцами крутую конскую ляжку. Кобыла в ответ досадливо трепнула долгим белым хвостом, будто отмахивалась от докучливого слепня.

— Ну не буду, не буду... Твое теперь дело: кто дал — у того бери, кто ударил — тому беги, — проговорил он, неудовлетворенно, с обидой отступая от лошади. — Ну, бывай! Пошел я...

Касьян опасливо обернулся в оба конца, не видит ли кто этого его тайного свидания со своей давней, застарелой болячкой, и, отступаясь от стойла, вдруг в конце прохода, среди ровного ряда хомутов, развешанных на столбах — каждый против своей лошади, — подцепил нечаянным взглядом какой-то лишний, ненужно выпиравший предмет. Всмотревшись, Касьян распознал морду старого Кречета. Положив тяжелую сумеречно-серую голову на прясло, он затаенно следил из-за хомутов за Касьяном, словно догадывался, что видит его в последний раз.

— А-а, это ты! — обрадовался Касьян внимательному взгляду мерина, о котором как-то и не вспомнил и, наверно, не подошел бы, не попадись тот ему на глаза. — Ну, как ты тут, а? Живой?

Касьян шел к нему, заранее протянув ладонь, будто для рукопожатия, и конь нетерпеливо загремел копытами, сунулся грудью в перекладину и безголосо заржал, издав какой-то долгий сухой сип, под конец которого прорезался немощно озвученный, изъеденный старостью голосок.

— Узнал, а? Узна-ал! — растроганно выговаривал Касьян, увидев, как рванулась к нему лошадь.

Он подошел и потрепал старого коня по замшелой гулкой скуле, и тот ткнулся колючими усатыми губами под Касьяново ухо, засопел довольно.

— Что ж ты не ешь, а? Али не естся? Ты давай ешь. Вон как твои друзья-приятели овес рушат. За ухи не оторвешь. И про прежнего хозяина забыли. А я ж их из грязи, можно сказать... Сколь болячек повымазывал...

Конь, положив голову на Касьяново плечо, слушал, водил ушами, и эта доверчивая тяжесть была приятна и радостна Касьяну.

— А я, вишь, ухожу. Война, браток, война! Негожее дело затеялось. Сена не запасли, овес вон подчистили... Вот беда: и дать-то тебе нечего, нету гостинчика. Забыл я про тебя, запамятовал, что ты есть. Ну, прости, прости... Заморочили бабы голову, ревут да голосят. Насилу из дому вырвался... А ты дак не забыл — помнишь! Вот, вишь, как оно...

Наговаривая все это, Касьян в который раз сокрушенно шарился по карманам, ища хоть какую случайную корку, хотя бы зернышко для прощальной утехи коню, ведь всегда ж чего-нибудь носил, не являлся порожний. Но карманы, как назло, были пусты, должно, Натаха, сбирая одежу, все повытрусила оттуда, и от этого сделалось ему неловко и совестно.

— Как же я, а? Нету, нету ничего... Забыл начисто.

И вдруг, задержав руку в пустом кармане, обрадованно замер.

— Постой! Как же нету? Как же это нету? Е-есть! Сичас, сичас, браток...

Он сбросил с себя мешок и, присев на корточки, принялся торопливо распутывать затянувшуюся петлю. Кречет, перегнувшись шеей через прясло, осторожно теребил губами картузную маковку.

— Ну как же нет? Вот же... — бормотал Касьян и, выхватив ковригу, ломанул от нее закраек. — На-ка, друг, испробуй солдатского!

Мерин потянулся к хлебу, но сразу не взял, а долго нюхал, тонко играл, вздрагивал ноздрями, вдыхая острый ржаной запах, и лишь потом робко, стеснительно, как бы не веря, — не по чести, — заперебирал по горбушке губами, ловчась откусить истертыми до десен негодными резцами. И так и не откусив, вобрал все в рот и, зажмурясь, благодарно запахнув глаза, неспешно, словно вслушиваясь в душистое, солоноватое лакомство, повернул тяжело гуркающую челюсть в одну сторону, в другую...

— Ешь! — подбадривал Касьян и, жалея лошадь, обломил о колено еще кусок. — Худо твое дело. Кабы не война, дак, может, еще б пожил промеж других. А то, вишь, война...

Когда Касьян впервые принял конюшню, Кречет уже и тогда в годах был, но еще выглядел крепким, богатым конем, в серых морозных яблоках. Привел его с собой в колхоз ныне покойный Устин Подпряхин, а сколь жил до Устина и где обитал, где его настоящая родина, никто в Усвятах не знал. А нашел его Подпряхин аж в девятнадцатом году, в Ключевском яру, в полной сбруе, под боевым седлом. По-за тем яром по Муравскому шляху — Касьян тогда мальчонкой был — ходили конные сотни, секли друг дружку, — то белые налетят, то красные, — и неведомо было, чей это конь, кому служил, за что бился. Коню ведь все едино, куда скакать, чьей рукой направят. За эту его темность Прошка недолюбливал Кречета, называл его в шутку контрой. Ну да, может, и был за конем грех какой, дак после того с лихвой изгладил вину: годов двенадцать на Устина робил, пятерых ребятишек таким вот хлебом на ноги поднял, да потом в колхозе, пока не избил копыта, пока не подошел край.

— Да, братка, не станут тебя больше держать. Хватит, скажут. Что поделаешь? Не до тебя теперь. Не помогальщик ты больше. Разве тем токмо пособишь, что шкуру отдашь на солдатские ремни... Так что ешь. Последний твой хлебушко. Не увидимся больше...

Касьян поддавал ладонью, помогал Кречету взять остро растопыренные корки, сминал кулаком потуже мякиш, уже не замечая за словами, сколько раз ломал от ковриги.

Неожиданно кто-то поддал его в спину, и Касьян увидел Варю, тянувшуюся к нему из соседнего стойла. Отросшая порыжелая челка рассыпалась по ее шоколадной морде с белой пролысиной. Кобыла, коротко гоготнув с густой сдержанной мощью, ревниво скосила на Кречета темно-сливовый зрак с отраженными в нем квадратиками противоположного окошка. Под ее боком толокся такой же шоколадный и тоже с белым переносьем сосунок, дрожливо, как лесная коза, нюхал поверху хлебный воздух, еще не ведая, что это такое, беспонятно волнуясь, перебирая копытцами.

— А-а, Варвара! — обернулся к ней Касьян, всегда уважавший эту сильную, безотказную и добрую лошадь с самым большим хомутом во всех Усвятах. — И тебе хлебца? Дам и тебе. А как же... На, на, матушка. Тебе да не дать...

Он и ей обрадованно отщипнул кусок и еще поменьше протянул, жеребенку. Тот, однако,

не знал, что делать с хлебом, бестолково тыкался в Касьянову руку, потом потянулся к материным губам, любопытствуя, что она такое жует.

— Экий дурак! — опять растрогался Касьян, ловчась погладить, поласкать несмышленыша, и был он в эти минутки прощального избывания как во хмелю: обостренный ко всему, то горестный, то невесть отчего счастливый. И, снова обращаясь к Варе, говорил:

— Тебя с дитем на войну не возьмут, не должны б взять. Так что тут останешься. Это вон Ласточку с Вегой, Ясеня, к примеру, — тех подберут. Дак и Пчелку, само собой... Ласточка с Вегой в извоз патроны возить, або пушку. Куда ни назначь — добрая пара. Дак и Ясень... А Пчелку, ясное дело, под седло, под командира. Увидит — не расстанется командир. Многих пошерстят. Может, какой десяток-полтора и останется. Так что тут тоже не мед. Хомуту не просыхать. Вон сколь хлебушка в поле. Тебе, Варвара, жать да возить. Ты уж, матушка, выручай тут. Сколь малых ребятишек на тебе, на твоей хребтине остается. Эх, кругом разор!

То ли запахом свежего хлеба, то ли голосом своим растревожил, расшевелил Касьян чуть ли не всю конюшню, и то рядом, то за проходом напротив кони загукали полом, застригли навостренными ушами. Принюхиваясь издали, высунулись за входные барьерки стоявшие рядом Вега и Ласточка, с тихой волнистой протяжцей подал молодой голос Касьянов ездовый Ясень... Кто-то там дальше уже зассорился с соседом, взвизгнул зверино, саданул в доски — не иначе Данька, ни с кем не уживается подлая. Уже два станка сменил ей Касьян, а все то же...

На виду у коней Касьяну было неловко прятать остаток ковриги в мешок, заела б, замучила совесть, и он пошел по рядам, отламывая и раздавая последнее, сам облегчаясь намученной душой.

— Дядька Кося! — встал в солнечном проеме ворот Пашка Гыга. — Каких выводить? Которых?

Но, увидев, как тот ходил по станкам с искромсанным ломтем, поумолк, вырисовываясь деревянным ружьецом за плечами.

16

Лошади были поданы к конторе за полчаса до объявленного срока.

Распрощавшись с дедом Симакой, который, выкликнув вслед: «Ну, с богом! С богом!» — остался маячить посеред конюшенного двора с непокрытой головой, Касьян на Ласточке с Вегой, дедушко Селиван на Ясене с Мальчиком на рысях подкатили к правленческому майдану.

Но еще издали, трясясь в задней телеге, Селиван окликнул непонятно за колесным грохотом, ткнул кнутом в сторону конторы, и Касьян увидел, как в утренней синеве над соломенной кровлей свежо и беспокойно полоскался новый кумачовый флаг, вывешенный, должно быть, только что, в самое утро, заместо старого, истратившегося до блеклой непотребности.

На пустыре уже набрался усвятский люд: подорожно, не по погоде тепло, с запасом одетые мужики с разномастными самодельными сумками, и с каждым пришли его домашние, провожатые. Люди облепили конторское крыльцо, кирпичную завалинку, толпились кучками, лежали и сидели в тополевой посадке. Мелькнул широкой спиной с полотняным мешком Афоня-кузнец, по старой Махотихе, сидевшей с ребятней на порожках, Касьян догадался, что и Леха был где-то тут. Под кустиками в большом кругу Матюха Лобов перебирал, пробовал на частушечных коленцах свою старую, никому теперь не нужную дома ливенку. Но, несмотря на всплески гармошки, празднично-яркий флаг над конторой и безмятежную синь утреннего неба, во всем — и в том, как неулыбчивы, с припухшими глазами были лики провожавших женщин, как, скорбно понурясь, сидели на крыльце и по завалинке старушки и как непривычно смирны были дети, — чувствовалось сокрыто копившееся напряжение, выжидание чего-то главного. И как знак этого главного у коновязи одиноко и настораживающе стоял не здешний и обликом, и мастью, и крепким воинским седлом пропыленный конь в темных, еще не просохших подпотниках: кого-то он доставил казенным посылом, кто-то поспешно прискакал по ранним безлюдным верстам... Впрочем, сразу же и узналось, что приехал райвоенкоматский лейтенант по мобилизационному делу, чтобы на месте принять намеченных людей и доставить их в организованном порядке.

А из усвятских проулков, выбираясь на полевую, околичную дорогу, по которой еще недавно бежал и сам Касьян, все шли, поспешали, мелькая головами по-над хлебами, новые и новые куртины людей. Кто-то недокричал своего, недоголосил дома, и теперь, из-за пшеничного окрайка, где колыхались платки и картузы и мелькали все те же заплечные сумки, долетал обессиленно-вскидливый голос какой-то женки.

Касьян, поискав и не найдя своих, Натахи с матерью, подошел к мужикам, окружившим Лобова, здороваясь и всем пожимая руку с той облегчающей братской потребностью, с какой деревенский общинный житель всегда стремится к ближнему в минуты разлада и потревоженной жизни. И те, тоже откликаясь приветно, потеснились и дали место в кругу, где Лобов, охватив гармонь, подвыпивши, красноязычил:

— А все ж должны мы ево уделать, курву рогатую. Хоть он и надеколоненный, и колбасу с кофеем лопает, а — должны.

— Ужо не ты ль? — подзадорил кто-то.

— А хоть бы и я! Ежли один на один? Подавай сюда любого. Давай его, б..дю! Окопы рыть? Давай окопы! Дело знакомое, земляное. Неси мне лопату и ему лопату. Да не ево, а нашу, на суковатой палке, чтоб плясала на загнутом гвозде. Нехай такой поковыряет. Я вон на торфу по самую мотню в воде девять кубованцев махал. Пусть попробует, падла!

Лобов сдержал обещанное, пришел-таки в лаптях, вздетых на высоко и плотно обернутые онучи, казавшие кривулистые, имками, ноги. Картуз он подсунул под гармонь, и теперь больнично голубел наголо остриженной шишковатой головой, отчего вид у него был занозливый, под стать и самому разговору. Однако мужики слушали его с готовным интересом: коротали время.

— Али пешки итить. Нате, мол, вам по полста верст. Ему полста и мне полста: кто поперед добежит. Токмо чтоб без колбасы, такое условие. Мне в котелок кулешику, и ему кулешику. А мы тади поглядим. Дак я и без кулеша согласен. Пустобрюхом не раз бегано. Но чтоб и он пустобрюхом! На равных дак на равных.

В трудный тридцать третий год Лобов вербовался куда-то один, без семьи, обещал потом вызвать свою Марью с младенцами, но что-то там не то нашкодил, не то еще чего и отбыл за то три года сверх договора. Домой вернулся вот так же без волос, но зато с гармоньей, и среди усвятцев слыл хотя и балаболом, но бывалым мужиком. В общем-то по обыденности, несмотря на причуды, был он человеком сходным, но, подвыпивши, любил похвастать, или, как говаривал о нем Прошка-председатель, заголить рубаху и показать пуп.

Касьян не все слышал, что там еще загибал Матюха, отходил, глядел по сторонам, искал своих, не подошли бы, и когда вернулся снова, тот продолжал потешать новобранцев.

— Я солдат недорогой, — говорил он, оглаживая стриженую макушку. — Много за себя не спрошу, кофею не затребую: шинелку, опояску, махорки жменю, а нет, дак и моху покурю. Спробовал уже: курить можно. Хоть воньливо, зато комар не ест... Три дня кухню не подвезут — ладно, сухарика из рукава поточу, або гороху за окопом нощиплю. И в болоте без раскладухи заночую, леший не нанюхает. Вша, сказать, — тыю тож за жисть повидали. Так что немцу неча со мной тягаться. Нечем ему меня напужать — пуганый всяко. Не на того наскочил, халява.

Лобов сплюнул, задел плевком гармонь и поспешно вытер ладонью.

— Один на один да без ничего — это и я согласный, — отозвался Никола Зяблов, подбрасывая спиной неловко сидевший мешок. — А то ведь, сказывают, на машинах он, да с автоматами. Тут одним живучим брюхом не посрамишь. А ну как да и Россию-то б на машины...

Тем временем дедушко Селиван, встав в телеге, шумел свое:

— Робятки! Слышите ль? Давайте пехтерято свои. Чего ж их за собой таскать? Афанасей! Лексеюшка! Давайте, складывайте.

Мужики зашевелились, начали обступать повозки, и дедушко Селиван, принимая и укладывая сидора, весело приговаривал:

— Не всегда ходоку сума барыня, надоть и плечи поберечи. Уложимся загодя — и вся недолга. Вали, робятки, облегчайся! Все как есть к месту доставим.

Лобов, послушав, чего кричит Селиван, заперебирал пуговицы на ладах, гармошка, будто вспорхнувшая бабочка, замелькала рисунчатым коленкором своих мехов, и ее хозяин выдал скороговорицу:

Ты, телега, ты, телега,
Ты куда торопишьси-и-и?
На тебя, телега, сядешь —
Скоро ли воротишьси-и-и...

На гармонь, на лобовскую запевку откуда-то из-за толпившегося народа внезапно отозвался жестяной надсадный выкрик, вырвавшийся из охрипшего и ободранного горла:

Ох, д'кричу песни-и-и...

И через промежуток:

Кричу вволю-ю...

И еще через паузу:

Ох, д'напоюсь на всю недолю-ю-ю...

Все обернулись на эту охрипшую частушку: по выгону к правлению двигалась толпа, человек двенадцать Кузькиных родичей и гостей, в основном баб, наехавших из окрестных околотков, и в середине сам Кузьма, поддерживаемый под левый закрылок Давыдкой, а под правый — своей бабой Степанидой. На Степаниде, так же как и на Давыдке, белели лямки холстинного мешка, туго, до желваков набитого снедью. Кузьма, ведомый под руки, сморенно волокся, загребая пыль форсисто осаженными сапогами, обвисая головой со сбитой набок кепкой. Выглядывая одним глазом в расселину свалившегося чуба, словно в заборный пролом, он искал игравшего, пытался пристроиться к ладу:

Голосок мой д'хриповата-а-ай...
Ох, тут никто... не виновата-а-ай...

Кузька потряс головой, сбросил в пыль кепку, и Степанида, подхватив ее, обтрусив о колено, надела на себя, поверх косынки. Было похоже, будто не она провожала Кузьму, а Кузьма заместо себя отправлял на немца свою же-

пу, облаченную по-походному — в мешок и кепку.

Подступившие бабы, встав коридором, молча глядели, не ввязывались, но старая Махотиха не вытерпела, вскинулась руками:

— Да куда ж ты его такого-то? Степанидка!

— А чего с ним теперь! — отозвалась бледная, намучившаяся тащить Степанида, озираясь на обе стороны. — Знал, паразит, чего делал! Нехай теперь срамотится. Я уж и язык об него излаяла.

— Может, его водицей полить, охолонуть? К колодезю б сперва...

— К-каво? — вскинулся Кузька. — Мене к колодезю? Ха!.. Н-на дворе большой колодезь... упаду — не вылезу... Ежели выпить не дадите... Я помру — не вынесу...

— Иди, горла! — дернула его Степанида под руку. — Токмо бы хлебал... Разинь пузыри: все люди как люди, а ты агел беспамятный.

Позади Кузькиной свиты, чуть поотстав, давая ветру отнести на сторону поднятую ногами пыль, шла, шамкая юбкой, тыча дорогу клюкой, долгая сухая старуха в черной суконной шали — Кузькина мать. Она шла, ни на кого не глядя, не слушая, а может, никого и ничего не слыша...

Кто-то, однако, сбегал до правленческого колодца, отцепил ведро, и Кузьку окатили-таки, намыли голову, а потом положили за конторой в тенек, не давая ему шутоломить, появляться перед окнами.

Между тем народ подобрался, подошли последние, кому должно тут быть, и Касьян отвертел шею, высматривая, пока наконец на конторском въезде не объявилась Натаха с обоими ребятишками. Касьян еще издали узнал ее не столько по голубой просторной кофте в розовую повитель, сколь по тому, как двигала-совала она ногами, широко ставя их от себя и переваливаясь с боку на бок, как зобастая утица. Митюнька, взлетывая на встречном ветру белыми волосенками, скакал бочком, будто пристяжной, об руку с матерью, Серенька шмыгал новыми штанами сам по себе.

Давно ли из дому, но вздрогнуло все в Касьяне при виде своих на этом куске дороги, как если бы глядел он из дверей эшелона, что уже стоял под парами, вот-вот должен был лязгнуть крюками и отойти. Он торопил Натаху глазами и даже помахал кепкой, но, не выдержав, сам поспешил навстречу.

— Папка-а! — звеня голосом, ликуя, не веря, закричал Сергунок, выплескивая все разом в своем восклицании, в одном только слове, которое в эту минуту сделалось главным, единственным, заменившим все остальные ненужные слова, ровно бы забытые начисто, и, как тогда, на сенокосе, первым сорвался бежать и, добежав, повис на руке, засматривая в лицо Касьяна, повторяя уже умиротворенней, со счастливым облегчающим всхлипом: — Папка...

— А я жду, а вас нету и нету, — сквозь терпкую горечь проговорил Касьян. — Нету и нету...

Тут же налетел Митюнька, молча, должно быть, в подражание старшему, обхватил и повис на другой отцовской руке, и Касьян, связанный, распятый ребятишками, так и стоял посередь дороги, пока не подошла Натаха.

— А где же мать? Мать-то чего?

— Ох, да ну ее! — перевела она дух. — Сичас да сичас... Чегой-то ищет... Говорит, идите пока... Ну, чего тут у вас? Скоро ли?

— Да вот ждем... Уже небось десять, а пока ничего.

На выгоне Касьян определил их в сторонке, на непримятой траве, но не успел, присев рядом, искурить папироску, как на крыльце появился Прошка-председатель вместе с прибывшим лейтенантом. Тут и там толпившиеся люди ожили, повалили к конторе, и Касьян, предупредив: «Пока тут будьте», направился к крыльцу и сам, тянясь шеей, заглядывая поверх голов.

Прошка-председатель был в своей низко насунутой кепочке, все в том же куропатчатом обвислом пиджаке, но в свежей белой рубахе, наивно, по-детски застегнутой под самый выбритый подбородок.

Рядом с ним у перил остановился непривычный для здешнего глазу, никогда дотоль не бывавший в Усвятах военный, опоясанный по темно-зеленой груди новыми ремнями, в круглой, снявшей козырьком фуражке и крепких высоких сапогах, казавшийся каким-то странным пугающим пришельцем из неведомых обиталищ, подобно большой и непонятной птице, вдруг увиденной вот так вблизи на деревенском прясле. Смугло выдубленное лицо его было сурово и замкнуто, будто он ничего не понимал по-здешнему, и Прошка был при нем за переводчика.

Прошка-председатель пошатал руками перила, взад-вперед покачался сам, выжидая, пока подойдут остальные, и, когда воцарилась тишина, сказал:

— Значит, так, товарищи... Ну, зачем вы тут — все знаете. Так что говорить лишнее не стану. На прошлой неделе мы проводили в армию первых семнадцать человек. Я и сам тади думал, что этого, может, и хватит и мы с вами будем по-прежнему работать и жить за минусом тех семнадцати. Но дело заварилось нешутейное, тут таить нечего, понимаешь... Приходится, стало быть, нам еще пособлять...

Прошка-председатель достал из-за края пиджака какие-то листки, заглянул в них...

— Повестки уже розданы, но мы тут с председателем военкомата еще раз поуточняли, чтоб, значит, никакой путаницы...

Говорил он каким-то серым голосом, пересовывая листки бумаги, будто они жгли ему пальцы, — нижние наперед, верхние под низ, потом опять все сначала.

— Пойдете отсюда организованно, чтоб не тащиться один по одному, не затягивать время. Так что слушайте теперь вот его, вашего командира, и все его приказы исполняйте. У меня пока все.

Он сунул листки в руки лейтенанта, нетерпеливо прошелся у него за спиной, остановился, передвинул кепку, еще раз прошелся и, подойдя к перилам, опять пошатал их обеими руками.

Листки, должно, были сложены неправильно, потому что молчаливый лейтенант взялся неспешно, с давящей обстоятельностью наводить в них какой-то свой порядок: опять положил верхнюю бумажку под низ, нижнюю — сверху, а ту, что была до того наверху, заложил в середину. После чего без всяких предварительных слов и пояснений сразу же выкрикнул:

— Азарин!

С ответом почему-то не поспешили, возможно, потому, что уж слишком вдруг было выкликнуто: по пальцу ударь — и то не сразу больно, а сперва лишь удивительно, — и лейтенант, оторвавшись от бумаги, переспросил:

— Есть такой? Эм-Вэ?

— Е-есть! — послышался встревоженно-оробелый отклик.

— Азарин! — повторил опять лейтенант и прицелисто поводил по площади строгими глазами.

— Я! Я! — поспешил объявиться вызванный. — Тут я.

— Азарин, три ш-шага впер-ред!

Из толпы, весь в смущении, с растерянно-виноватой улыбкой на опаленно-красном дробном лице, бормоча сам себе «иду, иду», протолкался невеликий мужичонка, по-уличному Митичка, числившийся скотником на усвятской молочной ферме.

— Тэ-зэк... — протянул лейтенант, помечая что-то в листке карандашом.

Митичка, стоя перед крыльцом, стесняясь своего на виду у всех одиночества, продолжал улыбчиво озираться, перебирать парусиновыми туфлишками — вертелся, будто червяк, выковырнутый из земли.

— Азарин, смир-р-но! — вдруг резко скомандовал лейтенант, которому, видимо, была неприятна и оскорбительна этакая разболтанность, и вздрогнувший Митичка враз замер навостренным коростелем — крылья по швам, клюв кверху.

Лейтенант внимательно, изучающе посмотрел на Митичку, как бы оценивая материал, с которым придется работать, и, опять сказав «тзк», уткнулся в бумагу.

— Витой!

— Я Витой! — готовно отозвался Давыдко.

— Три ш-шага вперед! В одну шеренгу стынови-и-нсь!

Давыдко провористо выбежал, пристроился к Азарину и поравнял по его парусиновым туфлям с коричневыми, как у жуков, нососпинками свои юфтовые ботинки.

— Горбов!

— Есть Горбов, — раздался сдержаный бас с покашливанием. Крупным тяжелым шагом выступил Афоня-кузнец в своей особой афонинской одежде: старом, жужелично лосящемся пиджаке, негнуче вздутых штанах, тускло поблескивающих на коленках, заправленных в разлатые сапожищи. Свою белую сумку из подушечной наволочки он никуда не сдавал, словно бы позабыл о ее существовании за широченной сутулой спиной, и та уже успела вымараться пиджачной смагой.

Лейтенант дольше, чем предыдущих, осматривал Афоню, даже обернулся с каким-то вопросом к ходившему позади него Прошке-председателю и, ставя против Афониной фамилии энергичный отчерк, дважды повторил свое «тзк».

Вскоре подобрали Николу Зяблова, который тетешкал, успокаивал раскапризничавшегося неходячего младенца, мешавшего ему слушать фамилии. Намаявшись и от мальчонки, и от ожидания своего вызова, Никола, когда его наконец окликнули, даже позабыл отдать жене пацана, а так и шагнул было в строй вместе с дитем, отчего народ маленько развеселился, посмеялся этому курьезу. Потом через несколько человек вызвали Матюху Лобова, ожидавшего череда с перекинутой через плечо гармошкой. И сразу за его спиной завыла Матюхина Манька — с таким же, как и у Матюхи, носом розовой редисочкой, с упавшим на плечи платком — замахала обеими руками, будто отбивалась от налетевших оводов.

— Да Матвеюшка мой една-а-ай...

— А ну цыть! — огрызнулся Матюха, безброво насупясь, отдергивая рукав, не даваясь жене ухватиться. — На-ка, подержи гармонь.

— Да че мне гармонь! Че гармонь... — голосила Манька, невидяще цапая протянутую ливенку, и та, расщеперясь мехами, подвыла ей какой-то распоследней произительной пуговицей.

Лобов беззвучно, как кот, вышагнул вперед в своих обмятых покосных лапотках и, перемогая бабьи позорливый плач, досадно погуркав пересохшим горлом, проговорил, преданно глядя на лейтенанта:

— Развылась тут... Небось не в гроб заколачивают, реветь мне.

Однако лейтенант не обратил внимания на Матюхины слова, а, лишь со вниманием поглядев на его лапти, продолжил чтение списка.

Шеренга все увеличивалась, от тесноты и скученности обступавших людей строй начал кривиться левым наращиваемым концом, и Прошка-председатель уже раза два обращался к собравшимся:

— Товарищи, попрошу дать место. Отойдите лишние. Сколько говорить, понимаешь!

Лехой Махотиным закрыли первый ряд человек в двадцать. Солнце начало припекать, становилось жарковато, и Леха, оставив жене пиджак и кепку, занял свое место во вчерашней небесно-синей блескучей косоворотке, перехваченной наборным кавказским ремешком. Выполосканный в Остомле чуб играл на ветру и солнце крупными смоляными завитками, да и сам Леха был какой-то весь выполосканный, прибранный и ясный, каким бывал он, пожалуй, раз в году, после своей пыльной комбайновой работы. Лейтенант откровенно засмотрелся на него и тоже с нажимом отчеркнул в бумагах, после чего выкликнул Недригайлова.

На эту фамилию никто не откликнулся, и лейтенант, тоже порядком упревший в своих ремнях, нетерпеливо повторил, добавив для ясности инициалы:

— Кэ-Вэ. Есть такой?

— Пишите, есть! — подала голос за мужа Степанида, так и не снявшая Кузькиной кепки.

— Тут, тут он! — подтвердили и мужики.

— Недригайлов, три ш-шига вперред! — наддал осерженным голосом лейтенант, в упор глядя на Степаниду.

Кузьма по-прежнему не выходил, и пришлось вмешаться Прошке-председателю:

— Кузьма! Кова ляда? Шуточки тебе, что ли? Степанида, чей картуз на тебе? Где мужик, понимаешь?

Бледная Степанида виновато молчала, убрав вовнутрь рта покусанные губы.

— Да тут он, Прохор Ваныч, — пытались разъяснить из толпы. — Токмо он тово... маленько не рассчитал... А так — тута, за конторой находится.

— Эть, понимаешь... — сдавил челюсти Прошка-председатель. — Позорить мне ополчение! Макнýть его, подлеца!

— Да уже макали. Щас ничего уже. В телегу, дак за дорогу оклемается. За это похлопочем. К месту как есть выправим.

— Меру надо знать... — буркнул Прошка и отвалил от перил.

К Касьяну тихо подошла Натаха, тронула за рукав, но он, прикованный вызовами, не сразу осознал ее присутствие.

— Сичас тебя, Кося, — сказала она, стиснув его руку. — Ох...

— Ага, скоро должны, — не отрывая взгляда от крыльца, вытягивая шею, отозвался Касьян.

Ожидая этого момента, он присмаливал одну цигарку за другой и, когда его назвали, не сразу признал свою фамилию. Касьяну показалось, будто вызвали не его, но кровь уже сама откликнулась, ударила напором в шею, и он, услышав, как выкликнули его вторично, подтолкнутый Натахой: «Тебя, тебя кличут», — так и вышел оглохший, с липким звоном в ушах, будто саданулся о невидимую притолоку. Стоявший в первом ряду Матюха, обернувшись, что-то сказал ему, приветно заулыбался, но Касьян ничего не понял и, как бы не узнав Матюху, уставился на лейтенанта, делавшего очередную пометку.

Кого еще выкликали, он долго не слышал, пока не рассосало этот застойный гул в ушах, пока не отпустило плечи, онемело скованные какой-то неподвластной силой.

— Разиньков! — продолжал выкликать лейтенант.

— Я!

— Рукавицын...

Отсюда, из строя, лезла в глаза всякая мелочь и ерунда, на которую прежде и не глядел бы, не увидел этого: ненужно раздумывал, откуда взялся под конторским окном куст крыжовника. Сто раз бывал здесь и ни разу не видел. То ли Дуська-счетоводка когда посадила, то ли так, сам по себе, самосевка. Та же Дуська небось сплевывала в окно кожурки, они и занялись расти... Потом углядел под крыжовником пестрявую курицу с упавшим на глаз красно-тряпичным гребнем. Странно, что она не боялась всей этой толкотни, будто здесь никого и не было, она одна-разъединая со своим делом. Курица, лежа на боку, словно кайлом, долбила край ямки, обрушивала комья под себя, после чего, мелко суча свободным крылом, нагребала на спину наклеванную землю, топорщилась всеми перьями, блаженно задергивая веком единственный глаз. За такое дело курицу следовало бы потурить, потому как оголяет, подлая, корни. Но куст был уже без ягод, должно, еще зеленцой обнесли пацаны, и теперь стоял никому не нужный, разве что этой заблудшей птице.

— Сучилин Вэ-Пэ!

— Так точно, я!

— Сучилин А-Мэ!

— Иду!

Солнце жгло спину сквозь пиджак, калило суконный картуз, и было странно Касьяну стоять вот так стреноженно, самому не своим в виду своей же деревни, в трех шагах от жены и детишек. Он заискивающе обернулся, и Натаха, прижимавшая к себе, к животу своему обоих ребят, растерянно, принужденно улыбнулась, дескать, здесь мы, здесь...

— Сучилин Лэ-Фэ!

— Я-а!

— Сучков!

— Есть Сучков!

Оставшиеся на воле немногие мужики, стомясь ожиданием, выходили на оклик с поспешной согласностью, будто опасаясь, что им, последним, уже не найдется места. Но место находилось всем, и уже начали лепить четвертую шеренгу. Набиралось не как думалось раньше, пятьдесят ходоков, а, поди, все восемьдесят! И сразу стало видно, с чем остаются Усвяты — с белыми платками, седыми бородами да с белоголовыми малолетками.

Лейтенант сложил бумажки пополам, затолкал их в планшетку и, оглядев строй, спросил:

— Вопросы есть?

Вопросов не было.

— Больные? С потертостями?

Не нашлось и таких.

Лейтенант вынул из брючного кармана часы и посмотрел с ладони на их время.

— Так, товарищи... — сказал Прошка-председатель, оглядывая пустырь перед конторой — молчавших мужиков в строю, присмиревших женщин вокруг ополчения. — Если кто хочет чего сказать — выходи сюда, на крыльцо, и скажи.

Люди молчали.

— Дак будет чье слово?

— Ясно! — выкрикнул за всех из строя Матюха Лобов, белевший новыми веревочноперекрещенными онучами.

— Ну, тогда дайте мне...

— Давай, Прохор Ваныч! — опять выкрикнул Лобов.

— Ну дак вот...

Председатель кинул взгляд в ветреное поле, потом, пройдясь туда-сюда по крыльцу, поперебирал чего-то в карманах и снова вернулся к перилам.

— Я вон хоть и велел повесить новый флаг, но нынче у нас не праздник. Не до веселья нам. Война — тут объяснять нечего. А повесил я флаг за той надобностью, чтобы каженный видел, чего вы идете оборонять.

Все стоявшие перед конторой невольно подняли глаза на крышу. Там над коньком билось и хлопало, гнуло и шатало на ветру долгий оструганный шест свежее кумачовое полотнище. И многие за сутолокой утра видели его впервые, в первый раз подняли взгляд выше конторских окон.

— Но, — продолжал Прошка, — оборонять вы идете не просто вот этот флаг, который на нашей конторе. Не только этот, не только тот, что в Верхних Ставцах либо еще где. А главное — тот, который над всеми нами. Где б мы ни были. Он у нас один на всех, и мы не дадим его уронить и залапать.

Прошка постоял, скосив голову набок, будто прислушиваясь к трепетному биению флага над головой, и добавил, уточняя сказанное:

— Дак тот, который один на всех, он, понимаешь, не флаг, а знамя. Потому что вовсе не из матерьялу, не из сатину или там еще из чего. А из нашего дела, работы, пота и крови, из нашего понимания, кто мы есть...

Прошка окинул взглядом присутствующих, проверяя по лицам, понятно ли он сказал, и продолжил:

— Конечно, кличут вас, ребята, не на сладок пир. Об этом и говорить нечего. Идешь драть чужую бороду — не во всяк час убережешь и свою. Тут уж не плошай. Ну да, как сказывали наши деды: в бранном поле не одна токмо вражья воля, а и наша тож. А с нами еще и справедливое дело. Потому как не мы, понимаешь, на него, а он посягнул на нашу землю. А своя земля, ребята, и в горсти дорога, а в щепоти родина.

В эту тихую на площади минуту кто-то опять тронул сзади Касьяна. Он обернулся и, враз ватно обмякнув, увидел мать. Серая в своей сарпинковой одежке, в серо-клетчатом бумажном платке, она пробралась через ряды и мышью потеребила Касьяна.

— Дак нашла, нашла я! — радостно шептала она, торопливо вкладывая в его ладонь тряпичный комок. — Тут пуповинка твоя. Пуповинка. От рождения твово. На случай берегла. Дак вот и случай. Бери, бери, милай. Так надо, так надо...

Касьян пытался заслонить мать спиной, уберечь ее от лейтенанта, но тот, заметив какой-то непорядок в строю, уже строго нацелился в его сторону, и Касьян отстранил от себя мать:

— Ступай, мама. Нельзя...

— Иду, иду... — поспешно, согласно закивала она и, воздев руки, маленькая — едва по Касьяново плечо, — немощно потянулась к нему с лихорадочно-поспешным поцелуем.

— Ну, час добрый! Час добрый, сынок. Смотри там... Храни тебя господь.

17

По тому, как уходило усвятское ополчение, пыля знойным проселком меж еще не завосковевших хлебов, старики угадывали, как лют был нынешний враг, как подло он преднамерил свое необъявленное нападение, рассчитывая вместе со всем прочим не дать управиться со жнитвой, лишить супротивное войско его главной опоры — хлеба. Прежде, сказывали старики, будто бы, перед тем как сойтись, дожидались страды, очищали поле и бились на убранной, не столь ранимой земле.

Дорога в ту военную сторону уходила как раз хлебным наделом, обступившим деревню с заката от самой околицы. Нынче, как ни в какой день, расшумевшееся на ветру, ходившее косыми перевалами, то заплескивая дорогу, то отшатываясь от нее обрывистым краем, поле словно бы перечило этому уходу, металось и

гневалось, бессильное остановить, удержать от безвременья.

Версту, а то и две провожали отряд бабы и ребятишки, толпой волоклись позади, глотали дорожную пыль, иногда забегая вперед по тесной, заросшей полыном и осотом обочине, запинаясь о пашенные окраинные комья, прикрытые пустотравьем, чтобы сказать что-нибудь еще или хотя бы взглянуть на своего суженого, отца или брата. Было душно и жарко идти рядом с колонной, занявшей собой весь узкий проселочный коридор, тяжело топавшей и густо, непродыхаемо пылившей даже на этом вольном степном ветру. И только лейтенант, качавшийся в седле над мужицкими головами, обдуваемый этим ветром, еще не успел пропылиться и тем смешаться со всеми.

За ветряком, стоявшим на древнем могильном кургане, бабы, надорванные внутренней безголосой скорбью, начали отставать одна по одной, останавливались, махали сорванными с головы платками, что-то еще докрикивая издали или же молчаливыми изваяниями замирали среди поля. Лишь Лобова Манька долго еще не поворачивала вспять. С гармошкой через плечо, которую она, облегчая Матюху, не хотела отдавать, сопровождаемая тремя босоногими девочками с испуганно-строгими личиками, безмолвно бежавшими за матерью растянувшимся выводком, она время от времени появлялась то справа, то слева от третьего ряда, где шагал, снявши картуз, Матюха, размашисто вышлепывая своими лаптешками.

— Давай гармонь! — завидев жену, всякий раз кричал ей Матюха, пытаясь спровадить ее домой, и когда та опять не отдавала, поддерживая тем самым свою причастность к строю, он строго отворачивался, не хотел больше ни о чем говорить.

— Ты иди, иди знай, — шурша по краю колосьями, выкрикивала она. — Али мы тебе мешаем?

И снова молча шли, дружно, охотно по первым верстам, храня торжественность начатого дела, гукали и шлепали сапогами, лаптями, ботинками, веревочными чунями.

— Ну ладно, прощай, Мотя! — наконец выдохнула Манька. — Глаза видят, а уже все одно не наш. Прощай!

Она на ходу сняла гармошку, передала крайнему новобранцу и, остановясь, дернув под горлом косынку, распахнув душу, крикнула своим девочкам:

— Побегите, девки, побегите! Поглядите на отца еще! А я уже не могу...

И, пьяно сойдя с дороги, волоча по земле платок, ничком, как в бурную, невзгодную воду, пала в ходуном ходившее жито.

Касьян, окликая с дороги отстававших баб, оглохших и беспонятных: «Сторони-ись! Эй, берегись там!» — ехал в первом возу, держась поодаль от колонны, чтобы не хлебать понапрасну пыли. Со своими он распрощался еще у конторы, обе, и мать, и Натаха, — без ног, на последнем пределе, куда ж им было еще бежать, какие там провожанья. Взяв с собой ребятишек, все время моляще глядевших на него, ловивших каждое его движение, пока в последний раз обходил лошадей, поправлял упряжь, и уже с возка, выбрав и натянув вожжи, придерживая коней, застоявшихся у коновязи, нетерпеливо попросил: «Все, все, Наталья! Мам, все!» Женщины покорно отступились, отпустили грядку, и он с места взял рысью. Но еще до ветряка, отъехав с четверть версты, круто остановил и, поцеловав оробело-притихших сыновей: «Ну, сынки...» — ссадил их с повозки, и те, держа друг дружку за руку, остались стоять на дороге, глядя вослед пыльному облаку, поднятому отцом, догонявшим отряд.

Обогнав Селиванову повозку, Касьян отпустил вожжи, лошади перешли на шаг, отфыркиваясь, радуясь недавнему бегу, и он полез за кисетом, чтобы в первый раз за все утро покурить без спешки.

Когда дорога очистилась от провожатых, дедушко Селиван, оставив своих лошадей идти самих по себе, подсел к Касьяну. Был он торжественно-возбужден этим нарядом и все время озирался, радовался езде, дороге, глядел, как плескались у колес матереющие хлеба.

— Ну, пошли наши! — воскликнул он, засматривая из-под руки на колонну. — Пошли, соколики!

— Как там Кузьма? — поинтересовался Касьян.

— А ничего. Храпит во все заверти.

Часть мешков с Селивановой повозки Касьяну пришлось переложить на свою, а на высвободившееся место, на дно, уложили Кузьму. Уже перед самым отходом Кузьма, встрепанный, с отекшим лицом, вылетел вдруг из-за угла конторы, кинулся было в ряды, но его оттащили, и он, отпихиваясь, расталкивая мужиков, ударил кого-то, крича: «Кавво? Меня не пущать? Да я вас...» Пришлось его связать, уложить в телегу и прикинуть плащом. Кузьма долго вертелся, пытаясь освободиться, выкобенивался и матерился, но потом его утрясло, и он, угомонившись, снова захрапел.

Деревня еще долго виделась позади, сначала кровлями, потом одними только купами старых темных ракит над светлой нивой, пока не перевалили за первый пологий увал, убравший за себя Усвяты, и только старый, за ненадобностью давно уже распятый ветряк все еще одиноко маячил среди поля, томя душу последним видением родимых мест.

— Подтяни-н-сь! — покрикивал лейтенант, поворачиваясь в седле и оглядывая колонну.

После часу ходьбы отряд заметно растянулся, пожижел рядами. Только самые первые еще

старались идти согласно, тогда как прочие мужики, толкая друг друга плечами от непривычки ходить нога в ногу в такой тесноте, уже давно сбились, потеряли шаг, а в хвосте и вовсе каждый топал сам по себе нестройной ватажкой. Но, несмотря на то, шли споро, со свежей размашистостью, будто стремились поскорее отбежать от Усвят, за пределы своей округи.

Дедушко Селиван, поглядывая в их сторону, укоризненно прокричал Касьяну:

— Гляжу я, никак не могут командой ходить! Нешто это строй — кто в лес, кто по дрова. Еще и не шли, ветряк видать, а уже хвост волокут. Во, слышь, командир опеть «подтянись» кричит. Эдак и горла не хватит кричать так-то.

— А он пусть не кричит. Сердитый больно, — буркнул Касьян.

— Командир-то? Не-е! Он нужное требует. Вы ведь, поглядеть, чурки сырые, неошкуренные. Командирское дело какое? Его дело задать шаг, швыдко али нешвыдко. А уж строй сам должон ногу держать, как задано. Тади и марш не уморен, и кричать командиру нечего. До настоящих-то солдат — ох ты, братец мой!

— Как думаешь, — спросил Касьян, — ситнянские какой дорогой пойдут? На Разметное, али на Ключевскую балку?

— Какой же им резон на Разметное итить? Ясное дело — на Ключики. А чего?

— Да Никифор мой должен пойти.

— Ох ты! И его взяли?

— Поше-ел! Да хотел повидаться...

— Ну да перед Ключами Верхи будут, оттуда и поглядим. Ежли ситняки напрямки двинут, полем, как мы, дак с Верхов далеко видать. Человек не иголка, а целое ополченье и вовсе в поле не утаится. В прежние времена, сказывают, на тех Верхах сторожевая вежа стояла.

— Это для чего?

— Для догляду. Караулили, не набегут ли с дикого поля хангирейцы. Ежли что, дозорные люди сразу и подадут знать. Подпалят на верху вежи бурьян або хворост. А уж за Остомлей, за лесом, другая вежа была. Та потом себе дымить зачинала. Так аж до самых Ливен, а то и дале — дымы. Мол, татары идут, хангирейцы. Доедем до Верхов — глянем твоего Никифора, коли ситняки нонче выступили.

— Дак и ставцовские тоже седни идут.

— Ага, ага... Стало быть, всех одним днем кличут.

Тем временем кончилось усвятское поле, открылась пологая балочка, коих в этих местах — за каждым увалом. По дну лощины сквозь осочку и лозняк несмело пробивался только что народившийся безымянный ручей.

Лейтенант свел отряд до самого долу и тут остановил, объявил перекур.

В логу стояла тишина, никем не топтанная трава медово млела под безоблачным солнцем, и там, в вышине, будто вечная музыка, совсем как весной, звенели и ликовали невидимые жаворонки.

Долго ли шли строем, всего и одолели одно поле, но мужики, ровно малые дети, обрадовались привалу, и не столько самому отдыху, сколь возможности рассыпаться, разбежаться в разные стороны. Теперь можно было сесть, развалиться на бархатной травке, покурить в охотку, и все это представлялось нежданным благом. Но все первым делом наперегонки, треща кустами, ринулись к ручью, вставали перед ним на колени, пластались на животы и пили, пили, зачерпывая пригоршнями и картузами или дотягиваясь губами до воды. Напившись, принимались плескать себе в пыльные лица, на потные загривки и, утираясь кто тем же картузом, кто — подолом рубахи, благодарно поглядывали на лейтенанта, что, сидя поодаль от всех на старой кротовой кочке, покуривал свой «Беломорканал», придерживая в поводу жеребчика.

В повозке застонал, завозился Кузьма, было видно, как он, вскидывая голову, бодал изнутри брезент.

— Чего тебе, милай? — сдернул с него плащ дедушко Селиван. — Не жарко ли?

Опутанный веревками по рукам и сапогам, со сведенными за спину посиневшими кулаками, Кузьма боком лежал на дне телеги со сложенными вдвое, подобранными под живот долгими, саранчуковыми ногами и, жмурясь от света, всем спаленным нутром не принимая дня и солнца, хватал и жвакал воздух сухими, спекшимися губами.

— Дак чего надоть? — переспросил Селиван.

— Стешку мне... Степаниду...

— Хе, когда хватился! — дедушко Селиван отмахнул от Кузькиного носа невесть откуда налетевшую синюю муху, учуявшую дурное. — Проспал, проспал бабу-ти. Да-алече теперь твоя Степанидка.

— Сумка игде...

— Дак и сумка при ней. С отрядом баба ушла. Утрехала Степанида. Говорит, ежли мужик ружья держать не способен, то нехай печь топит, ухватами бренчит. А я, дескать, за него, за негожего, сама на немца пойду. Да и пошла вот.

Кузьма метнул кровяным заспанным глазом, должно, не в состоянии набрякшим умом понять, шутит ли Селиван или же бает чего похожее.

— Ладно тебе...

— А чего — ладно? Ладно-то чего? Рази это ладно, ежели баба заместо мужика оборону держать идет? Завтра, глядишь, и присягу со всеми примет. Перед полковым знаменьем

стоять будет. Дак а чего? Со Степанидой все станется. Как погрозится, так и сделает, мешкать не подумает. Твою бабу токмо штыку обучить, дак она какого хошь немца упорет. Вот, вишь, какое твое нехорошее положение.

Кузьма, налившись синюшной, перепорченной кровью, задергал плечами, силясь одолеть веревки.

— Развяжи, слышь... — потребовал он.

— Э-э, нет, браткa! В этом я не волен. Не мною ты сужен, не мной и в узлы ряжен. Это уж как обчество. Его проси. А ежели охота помаленькому, дак и так можно. Телега — не корыто, вода дырочку найдет.

— Пусти, говорю... — клокотал горлом Кузьма.

— Дак опамятовался ли? Вспомнил хоть, за чего тебя? Не за то, что кого-то там ударил, а за то, сук-кин ты сын, что сраму не знаешь, в святое дело на четверях ползешь.

Кузька молчал, сопел в чей-то мешок, подсунутый ему под голову.

— То-то же... — И, обернувшись, старик крикнул Касьяну: — Как думаешь, Тимофеич, время ли отпускать орла-сокола? Не порхнет ли куда не след?

Касьян подошел к телеге, оценивающе оглядел похмельем измятого, полуживого Кузьму и молча потянул конец веревки под его коленками.

Орел-сокол, однако, не только не вспорхнул после этого, но, попробовав было перелезть через грядку и так и не сумев приподнять себя, обороненно осел на дно телеги, проговорив лишь пришибленно:

— Попить дайте...

Касьян отцепил ведерко, приторочeнное к задку Селиванова возка, сходил к ручью и подал Кузьме напиться.

— Ох, гадство, — потряс тот головой и, окончательно сморясь от воды, потянув на себя дождевик, упрятался от бела света и всего сущего в нем.

Меж тем дичком глядевшие поначалу мужики, теснившиеся друг к дружке в щемящем чувстве бездомности, особенно остром на первых отходных верстах, мало-помалу начали прибиваться к лейтенанту. Рассаживаясь по извечной деревенской ненавязчивости в некотором отдалении, большей частью — за его спиной, чтобы не мозолить глаза своим присутствием, и, поглядывая, как тот уже по второму разу закурил беломорину, они и сами лезли за баночками и кисетами, как бы выражая тем свое молчаливое расположение.

В них самих все еще саднило, болело деревней, еще незамутненно виделись оставленные дворы и лица, стояли в ушах родные голоса, стук в последний раз захлопнутых калиток, и, не ведая, чем притушить эту неотвязную явь, невольно тянулись к сидевшему поодаль лейтенанту, послеживали за каждым его движением. Неосознанно нуждаясь в его понимании и сочувствии, они, как это часто бывает в разломную минуту с глубинно русским человеком, сами проникались пониманием и сочувствием к нему — одинокому в чужих полях, среди незнакомого люда, и только ждали, чаяли минуты, чтобы протянуть руку товарищества и братства на начатой вместе дороге. И первым, бродя поблизости, делая вид, что интересуется щавелем, подошел к лейтенанту легкий на все Матюха Лобов:

— Товарищ лейтенант! Давай конька попою. Пристал на жаре конек.

Матюха безбоязненно подшагнул под лошадиную шею и, взяв коня под уздцы, сочувственно погладил горбатое переносье.

— Щас, милай, щас, — заговорил он с лошадью, осыпанный по стриженой голове конской гривой, и лейтенант, задержав взгляд на Матюхиной рассеченной губе, улыбчиво обнажавшей зубы, снял с руки повод и молча бросил его Лобову.

— Дак ты и сам помойся, — обрадовался поводу Матюха. — Сними, сними рубаху-то. Чего ж в ремнях сидеть. И ноги ополосни, побудь босый. Глянь, травка-то какая.

— Времени нет полоскаться, — отозвался тот. — Пора выступать.

— Дак ить это ж недолго. Минутное дело. А хоть сюда ведро принесем. — И, не дожидаясь ответа, кивнул мужикам: — Эй, ребята, неси сюда воды. Товарищ лейтенант умываться будет.

Сразу двое подскочили бежать за ведром, но дедушко Селиван и сам догадался, что к чему, проворно сбежал вниз и зачерпнул по самую дужку. Видя, как Давыдко перехватил у старика ведро и уже мчал с ним по пригорку, лейтенант привстал и расстегнул поясной ремень.

— Ладно, давайте, — сказал он. — И в самом деле жарковато.

Он обнажил себя до пояса, наклонился перед Давыдкой, и тут все вдруг увидели на его левой лопатке сизый напряженно стянутый рубец в добрую четверть. Занесенное было ведро повисло в воздухе, и лейтенант, не понимая, в чем дело, отчего мешкают, нетерпеливо поторопил:

— Лей, кто там...

— Дак можно ли? — оторопело спросил Давыдко. — Это чегой-то у тебя на спине?

— А-а! — засмеялся согнувшийся лейтенант. — Давай, валяй.

Давыдко осторожно, тонкой струей прицелился в лейтенантову шею, боясь попасть на страшное место.

— Лей, лей! — ободрял тот. — Поливай, не бойся.

— Чем это тебя, товарищ лейтенант?

— Было дело, — гудел сквозь струи лейтенант, радостно отфыркиваясь. — Хасан это... Озеро Хасан...

— Не болит?

— Болело б, так не служил бы. Рана ведь неглубокая, по кости только чиркнуло.

— Вот это дак чиркнуло! — с уважительной опаской таращились на рану мужики. — Эко боднула костлявая! Чуть бы что — и, считай, лабарет.

— Ничего! — крякал лейтенант. — Зато мы ему тоже всыпали. Долго будет зализывать.

У кого-то в сумке нашлось и полотенце — побежали, принесли долгий самотканый рушник с красными мережками, и, утираясь им, раскрасневшись от каляного суровья, лейтенант просиял белозубо:

— Хороша водица! Спасибо, товарищи.

Мужики польщенно оживились.

— Водица тут редкая, это верно. Из мелов бежит. А ты из каких мест? Где родина-то?

— С Урала я. Тагильский.

— Так, так... Мать-отец есть? Живы ли?

— Отца давно уже нет. Белоказаки расстреляли. Чего-то там в депо сделали, их и сцапали, восемь человек. Завели в пустой вагон, там и постреляли. А вагон потом сожгли... А матушка жива. И две сестренки. Уже б должна пойти на пенсию, да вот война, теперь не знаю как...

Пока утирался, а потом надевал гимнастерку и застегивал ремни, был он в эти минуты прост и доступен свежим, умытым лицом с прилипшими ко лбу мокрыми волосами, и мужики радовались этой обыденности, до той поры таившейся под строгостью армейской фуражки.

— Товарищ лейтенант, на-ка покури нашего домашнего, — Матюха Лобов протянул свернутую газетную книжечку. Он уже сводил командирского коня к ручью, и теперь тот пасся неподалеку на нехоженом склоне.

— Да погоди ты с махоркой, — перебил дедушко Селиван. — Человеку, может, перекусить охота. А ну, несите-ка, чего у вас там.

— А и верно! — вскинулись мужики. — Что ж это мы...

— Нет, нет, — запротестовал лейтенант и достал свои часы-луковку. — Время выступать. Предписано сегодня же прибыть на сборный.

— Поешь, поешь, сынок, — настаивал дедушко Селиван. — Тебя как звать-то?

— Александр... Саша.

— Ну дак, вишь, и звай по-нашему. А понашему такое правило: хоть ты генерал будь, а от хлеба-соли не отказывайся. А по-солдатски и того гожей устав: ешь без уклону, пей без поклону. Я солдатом тоже бывал, дак у нас так: где кисель, там служивый и сел, а где пирог, там и лег. За спасибо чина не прибавляют.

— Ну, отец, от тебя, видать, и ротой не отбиться! — засмеялся лейтенант.

— Была б причина со мной войну затевать, — тоже рассмеялся дедушко Селиван. — Неси самобрань, робяты! Какое время за хлебом потеряно, то вдвое в дороге нагонится. И конь, говорится, не ногами бежит, а овсом...

Тем временем Леха Махотин принес свою дорожную торбу, развязал ей хобот и принялся выкладывать припасы на разостланном рушнике — разломил смугло обжаренную курицу, высыпал пригоршню пирожков, достал свежих огурчиков, редиски. Мотнулся к своему припасу и Матюха Лобов и под одобрительный перегляд мужиков бережно, чтоб не расплескать, выставил на рушник голубенькую кружицу с белым на боку цветочком, чем и вовсе привел лейтенанта в смущение.

— Давай, товарищ лейтенант, — сказал он, почтительно отступая в сторону. — На здоровьице.

— Ну это уж вы зря... — смутился лейтенант. — Честное слово...

— Да чего там! — загомонили новобранцы. — Экое дело выпить перед едой. Выпей да закуси.

— Ну ладно, раз так. — Лейтенант поднял кружку. — За что выпью, так это за нашу победу.

— Вот это верно! — дружно одобрили мужики.

— Давай, товарищ лейтенант. Чтоб ему, Гитлеру, пусто было.

— Ни дна ему, ни покрышки.

И всем почему-то сделалось радостно, оттого что их командир выпил чарку, а теперь, присев на корточки, крепко хрустел ихним, усвятским, огурцом, тыча им в ворошок соли на листе медвежьего уха.

— Ужли не победим? — ухватился за слово Никола Зяблов, подбивая лейтенанта на больной разговор.

— Побьем, ребята, побьем, — спокойно сказал тот.

— Дак и я говорю, — подхватил дедушко Селиван. — Не все серому мясоед. Будет час, заставим и его мордой хрен ковырять.

— Правильно, отец! — захохотал лейтенант. — Это точно!

— Сколько уже замахивались на Россию, — ободренно продолжал Селиван, — а она и доси стоит. Уже тыщу годов. Эвон какое дерево вымахало за тыщу лет: шапка валится на верхушку глядеть.

— Насчет дерева это ты, отец, хорошо сказал, — кивнул лейтенант. — Нам бы еще немного заматереть, каких пяток лет, тогда ни один топор не был бы страшен.

— Это б хорошо, — поскреб под картузом Никола. — Да сучья, слышно, уже летят....

— Ничего! — сказал лейтенант. — О сучья ведь тоже топор тупится. Покамест до главного ствола дело дойдет, и рубить будет нечем. Нам,

товарищи, главиый ствол уберечь, а сучья потом снова отрастут. А за те, что порублены, он еще поплатится. Мы из них ему крестов наделаем.

— Что и говорить, к главиому-то стволу его никак ие след допускать, — сказал Никола. — Уж коли само дерево падет — конец и всем его веткам.

— За тем и идем, — баснул Афоня-кузнец, лежавший особняком под кустом конского щавеля.

— Выбьем, выбьем у него топор, товарищ лейтенант, — покряхтывая, подал голос Матюха. Кривясь от цигарки, дымившей под рассеченной губой, он взялся перематывать ослабленные на онуче завязки. — Не все-то одним нам в ус да в рыло, будет ему и мимо. Брехня! Ежели скопом навалимся, все одно передушим. Нам бы только техникой помочь, а мы сдюжаем. Я их, падлу, не пулей, дак зубами буду грызть. Я им покажу деколон.

— В каких частях служил? — поинтересовался лейтенант.

— В разных. Три года пехоты, да три еще кое-где... На спецподготовке, — засмеялся Матюха. — Между прочим, тоже на Урале. Только на Северном. Выходит, вроде как земляки с тобой.

— Понятно.

— Так что топором и я обучен махать, — уточнил Матюха и, встав, потопал лаптями, попробовал, ладно ли обмотался.

Поблагодарив за еду, лейтенант достал пачку «Беломора», протянул ее в круг. Мужики, смущаясь, бережно разобрали угощенье.

— Дак, а ты нашего тади дерни, — предложил Лобов. — Знаешь, как в сельпе махорка называется?

— Ну-ка, ну-ка?

— Смычка! Ты нам «Беломору», а мы тебе нашей рубленки. Вот и посмыкуемся.

— С удовольствием, землячок! — засмеялся лейтенант.

18

Вскоре объявили построение. Матюха изловил и подал посвежевшего коня лейтенанту, и тот, оглядев из седла замерший строй, скомандовал к маршу.

За ручьем начиналась чужая, не усвятская, пажить; рядами разбегались и прыгали через узкое руслице на ту сторону, за первые пределы отчей земли, своей малой родины; иные при этом норовили макиуть напоследок руку, потом, опять сомкнувшись, одолели зеленый склон и, выйдя на дорогу, подравняли шаг.

Касьян с дедушкой Селиваном, напоив лошадей, тронулись в объезд на жиденькую жердяную гатку.

Дорога потянулась на долгий пологий волок, сливавшийся где-то впереди с дрожливым маревом. По обе стороны топленым розоватым молоком пенилась на ветру зацветшая гречиха, и все оживились, войдя в нее, пахуче-пряную, гудевшую пчелой, неожиданно сменившую однообразие хлебов. За гречихой начались подсолнухи, уже вымахавшие в человеческий рост и местами тоже зацветшие, и было светло и как-то празднично идти среди этих ярких золотых цветов, терпко пахнувших лубом, повернутых, как один, к полуденному солнцу. И вообще, отдохнув и малость пообвыкнув в строевом ходу, шли легко, без изначального скованного напряжения, уже не вздрагивая от окрика лейтенанта, который в низко насунутой фуражке, подстегнутой под подбородком ремешком от встречного ветра, еще недавно казался в своем седле чем-то вроде ниспосланного рока, глухого ко всему и неумолимого в своей власти. Теперь все знали, что зовут его Сашкой, что, как и у всех у них, есть и у него где-то мать, что сам он в сущности неплохой, компанейский малый и что в его полевой сумке вместе со списками новобранцев лежит пара Лехиных пирожков с капустой, которые уговорили взять на тот случай, если захочется пожевать в седле. Помнилось и о том, что под его гимнастеркой на левой лопатке сизым рубцом запеклась не очень давнишняя пулевая рана, и в строю поговаривали, что не худо бы с ним, уже понюхавшим пороху, идти не до одного только призывного, а и дальше. Чтобы так вот всех, как есть, не разлучая, определили б в одну часть, а он остался бы при них командиром. И когда лейтенант время от времени поворачивался в седле, опершись рукой о круп лошади, оглядывал колонну и зычно, со звонцой кричал «подтяни-и-ись!», все уже понимали, что покрикивал он не от какой-то машинной заведенности и недоброй воли, а оттого, что, стало быть, кто-то там и на самом деле замешкался и поотстал, закуривая или отбежав до ветру.

И лишь однажды, когда взошли на самый гребешок и дальше дорога должна была покатиться долу, лейтенант рассерчал не на шутку, потому что строй вдруг без всякой причины сбился с шагу, затопал разноногим гуртом, мужики, притушая ход, заоглядывались и по колонне прошелся какой-то возбужденный ропот. Ехавший позади отряда Касьян, заговорившись с дедушкой Селиваном, едва не врезался дышлом в последние ряды.

— На-аправляющий! — гаркнул лейтенант. — Сты-ой!

Колонна приостановилась, и командир, упрятав глаза под посверкивающий козырек, поворотил коня в хвост отряда.

— В чем дело? Что за базар?

Мужики виновато отмалчивались.

Лейтенант обогнул колонну и, подвернув к повозкам, как бы пожаловался дедушке Селивану:

— Ведь только что отдохнули, покурили, черт возьми! Еще и трех верст не прошли.

— Дак вона, командир, причина-то! — Дедушко Селиван ткнул кнутовищем в обратную, уже пройденную сторону. — Туда гляди!

С увала, с самой его маковки, там, позади, за еще таким же увалом, бегуче испятнанным неспокойными хлебами, виднелась узкая, уже засиненная далью полоска усвятского посада, даже не сами избы, а только зеленая призрачность дерев, а справа, в отдалении, на фоне вымлевшего неба воздетым перстом белела, дрожала за марью затерянная в полях колоколенка. А еще была видна остомельская урема и дальний заречный лес, синевший, как сон, за которым еще что-то брезжилось, какая-то твердь.

Глянул туда и Касьян и враз пристыл к телеге, охолодал защемившей душой от видения и не мог оторваться, хотя, как ни силился, как ни понуждал глаза, не разглядел ни своего двора, ни даже примерного места, где должно ему быть. Но все равно — вот оно, как ни бежали, как ни ехали. Еще и ветер, что относил в ту сторону взволнованные дымки цигарок, долетал туда за каких-нибудь три счета, и вот уже кудрявил надворные ветлы, курил золой, высыпанной под откос из еще не остывших печей, трепал ребячьи волосенки и бабьи платки, что еще небось маячили кучками на осиротевших улицах...

— Чего ж не сказали, — глухо проговорил у телеги лейтенант, поглядывая на повернувшихся мужиков. — Разве я не понимаю...

— А что они тебе скажут? — Дедушко Селиван поддел кнутовищем под козырек, поправил картуз. — Вот сичас зайдут за бугор — и весь сказ... А там уж пойдут без оглядки. Холмы да горки, холмы да горки...

Лейтенант с места наддал коню, рысью обогнул смешавшуюся, молчаливую колонну и, привстав в стременах, уже сдержанное выкрикнул:

— Ну что, ребята? Пошли, что ли? Или вернемся?

— Пошли, товарищ лейтенант! — отозвался за всех Матюха.

— Тогда — разбери-и-ись! Ши-а-го-о-ом!..

Но в остальном, исключая это маленькое недоразумение, отряд продвигался споро, не задерживаясь, минули и одно, и другое угорное поле, один и другой дол с садовыми хуторами и в третьем часу вошли в Гремячее, первое большое сельсоветское село. Следовало бы сделать передых, но решили в селе не останавливаться, не муторить народ, а идти до Верхов и уж там уединиться и перекусить без помехи.

Гремячее занимало оба склона распадка с мелкой речушкой между глядевшими друг на друга улицами. Колонна пересекла село поперек, с горы на гору, и, пока шли ложбиной, на виду у обеих улиц, из дворов высыпали бабы и ребятишки, молчаливыми изваяниями уставясь на проходившее ополчение, на серых, пропыленных мужиков.

— Чии, голуби, будете? — спросил какой-то трясучий белый старик, сидевший в тени, под козырьком уличной погребицы, когда колонна поднялась на левую сторону.

— Усвятские! — выкрикнули из рядов.

Старик трудно, опершись о раскосину, поднялся и снял с головы мятую безухую шапку.

— Кто еще через вас проходил, отец? — спросил Давыдко.

— Того часу никольские пробегли да хуторские, — оповестил старик.

— А ваши пошли-и?

— Дак и наши. Али не видите, пустое село. Одне галицы да галченята малые. Пошли и наши, а то как же. Полтораста душ.

— На Верхи верно ли правим?

— На Вёршки? Дак вот они, за нами и будут. — И уже вослед крикнул больным, надрывным голоском: — Ну дак придяржите ево! Не пущайте дале! Не посрамите знамё-он!

— Постоим, отец! Постоим!

— Тади легкого поля вам, легкого поля!

Старик трижды поклонился белой головой, касаясь земли снятой шапкой.

За гремячьей околицей привязалась собака — полугодовалый волчьей масти кобелек, еще плоский, большелапый, с никак не встающим на зрелый манер левым ухом. Кобелек поначалу долго глядел на уходившую колонну, потом вдруг сорвался, нагнал и, то робея и присаживаясь, то обнадежив себя какой-то догадкой, опять догонял и озабоченно продирался подступавшими к дороге овсами. Время от времени он привставал зайцем на задних лапах и проглядывал отряд с переменчивой тоской и надеждой в желтых сиротских глазах.

— Иди домой, милый, — крикнул ему Матюха. — Нету тут никого твоих.

Но кобелек не послушался и долго еще шуршал овсами, выбегал позади на дорогу и в поджарой стойке тянул носом взбитую пыль. И только когда лейтенант бросил ему пирожок, щенок, взвизгнув, шарахнулся от него, будто от камня, и постепенно отстал, запропал куда-то...

Верхи почуялись еще издали, попер долгий упорный тягун, заставивший змеиться дорогу. Поля еще цеплялись за бока — то просцо в седой завязи, будто в инее, то низкий ячменец, но вот и они изошли, и воцарилась дикая вольница, подбитая пучкастым типчаком и вершковой полынью, среди которых, красно пятная,

звездились куртинки суходольных гвоздик. Раскаленный косогор звенел кобылкой, веял знойной хмелью разомлевших солнцелюбивых трав. Пыльные спины мужиков пробила соленая мокреть, разило терпким загустевшим потом, но они все топали по жаркой даже сквозь обувь пыли, шубно скопившейся в колеях, нетерпеливо поглядывая на хребтину, где дремал в извечном забытьи одинокий курган с обрезанной вершиной. И когда до него было совсем рукой подать, оттуда снялся и полетел, будто черная распростертая рубаха, матерый орел-курганник.

Усвятцы, наезжая в район, редко пользовались этим верховым проселком, хотя и скрадывавшим путь версты на четыре, но уморным для ездоков и лошадей, особенно в знойную пору. Чаще же ездили ключевским низом, по людным местам, прохладным и обветвленным, никогда не докучавшим пылюкой. Но всегда тянуло побывать здесь, на манивших горах, хотя за делами не всякий того удосуживался. И вот занесло всех разом аж на самую маковку!

— Правое плечо вперед! — скомандовал лейтенант, и отряд свернул с дороги к подножию кургана. — Переку-у-ур!

Как ни упёхались мужики за долгий переход, но и пав ничком на жесткую траву, каждый все-таки лег не как попало, а все до единого головой на восток, куда крутым овражным обрывом метров на семьдесят, а то и на все сто неожиданно обрезались Верхи. И открывалась отсюда даль неоглядная, сразу с несколькими деревеньками, нанизанными на блескучие петли Выпи-реки, с мельничным плесом и самой мельничкой, бело кипевшей игрушечным колесом, с клубившимися левадами приречных ольх и ракит, россыпью коров во влажно-зеленых лугах, мерцающих озерками и болотцами, с бугорками сенных стожков и сизыми капустными бахчами — все это звалось той самой Ключевской балкой, питавшейся обильными ключами из-под Верхового уреза, было тем самым низом, по которому и проходила излюбленная дорога. А по-за балкой вновь поднималась, дыбилась холмами материковая земля, и дивно было глядеть сразу на всю эту уймищу хлебов, уходивших верст на пятнадцать вправо и влево. И еще было дивно, что над всем этим — казалось, вот оно, только дотянуться рукой — неслось по ветру невесть откуда взявшееся одинокое облако, будто белый отставший гусь-лебедь, и тень от него, пересекая долину, мимолетно темнила то светлобеленые хаты, то блестки воды, то хлебные нивы на взгорьях. А еще выше, там, где царило одно только солнце, кружил в восходящем паренье тот самый старый курганник, что неслышной тенью сорвался с дремотных Верхов.

Так и не сойдя с седла, лейтенант вместе с конем остановился у самого края и долго глядел вниз с жутковатой высоты.

— Да-а... — протянул он и, обернувшись к подъехавшим телегам, изумленно спросил у дедушки Селивана: — Как же я утром этого не видел?

— Дак ты, мил человек, в ста саженях мимо и проскочил. Эвон где дорога-то!

— Пожалуй... А это что за курган?

— А он завсегда тут был. Спокон веку. Может, кто насыпал, а может, и сам по себе. На нем и стояла дозорная вежа. Вишь, макушка срезана? Для того, видать, и сравняли, чтоб вежу поставить.

— Ясно. Ну, а те откуда же шли? С какой стороны?

— Татары-то? Дак тамотка и шли, по заречью. Гляди, во-он на той стороне по хлебам пыль курится? Это и есть ихняя дорога. Муравский шлях. Туда, туда, за Остомлю, а там уж и Куликово поле — вот оно. Тамотка и шли поганые. Дак и оттуда, с Куликов, тем же путем и бежали, кто уцелел. На Дон да по-за Дон, в свои степя.

— Ребята! — вдруг подхватился Давыдко. — Дак ведь это, должно, ситнянские идут!

— Где?

— Да вон пыль!

Касьян насторожился, принялся глядеть в заречную сторону. И верно, поле клубило долгим низким облаком. Людей было не разобрать, но хорошо виделись катившие позади две не то три подводы.

— Небось ставские, — предположил Леха Махотин. — В самый раз ставцам быть.

— Ох ты! Ставцы низом должны, им низом ближе. А это, точно, ситянские. Кому ж еще?

— У меня там сродный должо́н итить, — сказал Матюха. — Так и не свиделись.

— Дак и у Касьяна братан. Тоже не попрощался.

Лежа на краю обрыва, усвятцы наблюдали, как дальнее заречное ополчение медленно плелось меж телефонных столбов, и по этим столбам, забежав глазами вперед, можно было догадаться, что колонна неминуче сползет в Ключевскую балку — если не здесь, то где-то потом, за поворотом.

— А что, братцы, ежли вдарить наперехват, а? — загорелся Матюха. — Им ведь все равно за Верхами перебредать на нашу сторону. Они сюды, а мы — вот они!

— Поесть бы сперва... — напомнил Никола Зяблов.

— Ладно тебе! Токмо от стола.

— Да где ж токмо?

— Расшеперимся тут с сидорами, а они и пройдут. А встретимся — вместе и поедим. Да и пойдем заодно. Вместе куда веселей-то. Счи-

тай, в Ситном половина усвятской родни. Ну что, братцы? Как, Касьянна? Ты ж Никофора хотел повидать.

— Я что — я на телеге.

— Как командир поглядит, — вяло согласился Никола.

Доложили лейтенанту. Тот внимательно посмотрел за реку, сказал, что если это действительно ситнянские, то их должен вести его хороший приятель, тоже уралец, лейтенант Фарид Халидуллин, и что он, в общем, не возражает против такого маневра. Правда, некоторые были недовольны хлопотной затеей, но большинство обрадовалось повидать своих, и лейтенант снова объявил построение, добавив, что там, на перекрестне, будет объявлен большой привал, можно будет распрячь лошадей, сходить на речку искупаться.

Двинулись краем обрыва, прямо по целине, стараясь не выпускать из виду ситнянскую колонну. Тем более что трава оказалась невелина, а главное, не было осточертелой пыли. Однако вскоре, как только обогнули курган и открылся поворот Ключевского лога, выяснилось, что далеко впереди движется еще какой-то отряд, и, судя по обозу, немаленький. Возникли толки, что, мол, не те ли ситнянские. Если они, то их уже не нагнать, а стало быть, и нечего пороть горячку. Но тут кто-то усомнился, что для Ситного — деревни в сотню дворов, отряд, пожалуй, великоват и что те, первые, скорее всего из Размётного. И порешили, что ситняки все же не те, а эти, ближние.

— А и ладно! — обрезал споры Матюха. — Раз пошли, то чего уж гадать. Шире шаг, ребята! Идти так идти!

В Селивановой повозке опять завозился Кузьма, высунулся наружу, сел, потер кулаками глаза, и Касьян слышал, как тот спросил:

— Где едем, батя?

— Далече уже, служивый. По Верхам едем.

— Ну-у? — не поверил Кузьма. — Вот это дак дали!

— Кто давал, а кто нахрапывал. Чего хоть во снях видел?

— А-а, всякую хреновину. Тот мордатый лектор приснился. Помнишь, который все брехал: попрут, попрут, на чужой тератории бить будут.

— А и попрут! — кивнул картузом дедушко Селиван, пришлепывая лошадей вожжами.

— А чего же не прут? — Кузьма сплюнул клубок вязкой слюны за телегу. — Так поперли, аж сами на тыщу верст отлетели. Подавай только ноги. То отдали, это бросили. Сколь ишо отдавать да бросать? Чего ж доси не прут?

— Ну дак ежли не поперли, — передернул плечами Селиван, — стало быть, нечем. Нечем, дак и не попрешь, Не подстрелишь — не отеребишь.

— Ага! Нечем! — усмехнулся Кузьма. — Еще и не воевали, а уже и нечем! А где ж она, та-то главная армия, про которую очкастый брехал? Где? — И Кузьма, сморщив нос, гуняво передразнил: — «Погодите, товарищи, главные наши силы ишо не подошли». Дак чего ж не подходят — вторая неделя пошла?

— Ты чего зевло этак-то разеваешь? Аж потроха дурные видать. Я тебе не фельдмаршал и сраженьев не проигрывал, чтоб с меня взыскивать. Ты пойди да вон на командира и пошуми. А он послушает, какой ты разумный.

— А меня стращать теперь нечего, — огрызнулся Кузьма и сумрачно уставился на лейтенанта, маячившего впереди поверх колонны. — Дальше фронта не зашлют.

— А на то я тебе так скажу, — дедушко Селиван, обернувшись, кивнул картузом в сторону мужиков: — Вон она топает, главная-то армия! Шурян твой Давыдко, да Матвейка Лобов, да Алексей с Афанасием... А другой больше армии нету. И ждать неоткуда...

— Чего это за армия? Капля с мокрого носу.

— Э-э, малый! — задребезжал несогласным смешком дедушко Селиван. — Снег, братка, тоже по капле тает, а половодье сбирается. Нас тут капля, да глянь туды, за речку, вишь, народишко по стóлбам идет? — Вот и другая капля. Да вон впереди, дивись-ка, мосток переходят — третья. Да уже никольские прошли, разметнинские... Это, считай, по здешним дорогам. А и по другим путям, которые нам с тобой не видны, поди, тоже идут, а? По всей матушке-земле нашей! Вот тебе и полая вода. Вот и главная армия!

Дедушко Селиван шевельнул лошадей, морозно причмокнул на них губами и вдруг, поворотившись, осведомился:

— Ты что, Кузьма Васильич, никак, оклемался уже? Дак тади, может, со строем пойдешь? А то ведь этак прямо на губвахту можешь угодить.

— Погожу маленько, — неохотно признался тот. — Башка чегой-то трещит. Закурить нету?

— Закурить у Касьяна проси.

Касьян, услыхав про себя, придержал свою пару.

Разломанно кряхтя, Кузьма перевалился через край телеги и нетвердо, будто после затяжной болезни, поковылял к переднему возу.

— Дай-ка курнуть, — потер он зябко ладони.

— Ты вот что... — Касьян потянулся за табаком. — Ежли голову уже держишь, лезь-ка сюда, за меня побудешь.

— А ты чего?

— С ребятами пойду. А то ноги онемели сидеть. На, держи...

Касьян сыпнул в Кузькины дрожавшие ладони жменю махры, бросил сверху свертыш га-

зеты со спичками и, на ходу надевая пиджак, побежал догонять ополченцев.

— Давай сюда! — обрадованно крикнул Леха. — А ну, ребята, пересуньтесь, дайте Касьяну место.

Касьян пристроился с краю рядом с Махотиным, подловил шаг и затопал в общую ногу. И радостна была ему эта невольная забота о том, чтобы не сбиться, поддерживать дружный гул земли под ногами.

— А глянь-ка, братцы! — возликовал Матюха. — Обходим, обходим этих-то! Ситников да калашников. Небось напехтерили сидора. Счас мы вас уделаем, раскоряшиих! Куда вы денетесь!

Поглядывая на заречную колонну, неожиданно поворотившую от телефонных столбов на какой-то проселок и явно косившую на переправу, усвятцы, подгоняемые замыслом, какое-то время шли с молчаливой сосредоточенностью, в лад шамкая и хрустя пересохшей в верховом безводье травой. Но вот Матюха Лобов, мелькавший в третьем ряду стриженой макушкой, пересунув со спины на грудь запыленную гармонь, как-то неожиданно, никого не предупредив, взвился высокозвонким переливчатым голоском, пробившимся сквозь обычную матюхинскую разговорную хрипотцу:

И эх, в Таган-ро-ге! Эх, в Таган-ро-ге!

Лейтенант, державшийся левой, береговой стороны, и все время поглядывавший в заречье, удивленным рывком повернулся на голос и, увидев в руках Лобова гармошку, одобрительно закивал головой, дескать, молодец земляк, давай, подбрось угольку.

И как это ни было внезапно, все же шагавшие вблизи Лобова мужики не сплошали, с ходу приняли его заманку и, пока только первыми рядами, охотно подхватили под гудевшую басами гармонь:

Да в Таган-роге приключилася беда-а-а...

Касьян, еще не успевший обвыкнуться в строю, не изловчился ухватить давно не петый мотив и пропустил первый припев, но, уже загоревшись азартом назревающей песни, ее неистовой полонящей стихией, улучив момент, жарко оглушил себя накатившимся повтором:

В Таган-роге д'приключилася беда-а-а...

А Матюха, раскачивая от плеча до плеча ушастой головой, сладко томясь от еще не выплеснутых слов, подготавливая их в себе, в яром полыме взыгравшей души, дальнув на басы под левую ногу, снова выкинул мужикам очередную скупую пайку:

Эх, там убили-и... эх, там убили-и-н,
Там убили д'молодого каза-ка-а-а...

И мужики, будто у них не было больше никакого терпения, жадно набрасывались на брошенную им строку и тотчас, теперь уже всем строем, громово глушили и топили запевалу:

Там убили д'молодого каза-ка-а-а...

Но Матюхин голосок ловким селезнем выныривал из громогласной пучины и снова взмывал, еще больше раззадоривая певцов:

И эх, схоронили-и... эх, схоронили-и-н,
Схоронили при широкой до-ли-не́-е-е...

А тем временем над Верхами в недосягаемом одиночестве все кружил и кружил забытый всеми курганный орел, похожий на распростертую черную рубаху...

Евгений Иванович Носов

УСВЯТСКИЕ ШЛЕМОНОСЦЫ

Повесть

Редактор В. МАЛЮГИН

Художественный редактор *С. Гераскевич.* Техническнй редактор *С Журбицкая*
Фото *Н. Кочнева.*
Корректоры *Г. Володина и М. Поляк*

Сдано в набор 1/VIII 1977 г. Подписано в печать 8/IX 1977 г. А02956. Бумага гвзетная. Формат 84×108[1]/[16]. 5 печ. л. 8,4 усл. печ. л. 10,563 уч.-нзд. л. Тираж 1 600 000 экз. 2-ой зааод: 500 001—1 600 000 экз. Заказ 1411 Цена 51 коп.

Издательстао «Художестаенная лнтервтура»
Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Набрано н смвтрнцнровано в ордена Трудоаого Крвсного Знамени Ленинградском произаодстаенно-техннческом объедненнн «Печвтный Двор» нмени А. М. Горького Союзполнграфпрома при Государстаенном комитете Соаета Мнннстроа СССР по делам нздательста, полнграфнн н книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Гатчинская ул., 26

Отпечатано на Чехоаском полиграфкомбннвте Союзполнграфпрома прн Госудврственном комитете Соаета Министроа СССР по делвм издательств, полиграфин н кннжной торговли, г. Чехов Московской области. Заказ 2365

«СЕЯТЕЛЬ ТВОЙ И ХРАНИТЕЛЬ...»

(Окончание)

Тема прощання, проннзывающая содержанне повестн, как основиой стержень, скрепляет воедино все сцены. Прн этом вольно нлн невольно любой житейскнй факт, каждое событне вдруг освещается особым прощальным светом и оттого зримо выступает в своей обнаженной ясностн н ценностн. Сенокос лн, ночное, стряпанье последнего семейного ужнна, стирка лн, радостное н таннственное, как обряд, как творчество, выпеканне хлеба — н все окрашено в тревожный цвет первых военных дией.

Касьян в ночном, может быть, это его последнее ночное, — как ярко светят звезды, как явственно слышны редкне звукн уснувшей ночн, как доверчивы н ласковы коин — старый Кречет, Варя, Вега, Ласточка... Иднлня, благодать... Но вот тот звук, что казался гудом жука-рогача, проявнлся, н высоко прошло на запад над мнрнымн Усвятамн «огромное крылатое тело бомбовоза». Еще н еще... И, услышав его, замерло все жнвое на берегу Остомлн, «война летела над ннм, заполняя собой все, сотрясая каждую травннку, проннкая своим грозным воочнем в каждую пору земли, в каждый закоулок сознання».

Вот так, рядом, ндут в повестн чувства тревогн н нежностн. Признанный мастер точной, емкой деталн, Евгенній Носов постоянно сопоставляет естествеиное, мириое, вечное с ненавистным, протнвоестественным — войной, ее грозными метами. И перелом сознання усвятцев происходит на глазах у читателей.

Идейно-художественный центр повестн — сбор всех уходящих на фронт мужиков в нзбе дедушкн Селивана Степановнча, нх беседа на непривычную еще «военную» тему, с еще наивнымн представленнямн о враге, нх естественные сомнения и опасеиия. Мудрый Селнван, как чуткнй наставннк, поннмает разлад, захвативший души мужнков, н находнт ободряющне, вдохновляющие слова для каждого; по-своему, бесхнтростно, призывая лнчный опыт н собственные воспомннання, он, по сути дела, страстио утверждает ндею геронзма н бесстрашня русского воннства, преемствениости подвига на поле брани.

Новая повесть Евгення Носова открыла его как эпнческого художиика, в образах, в символах н аллегориях умеющего спрессовать время, выявляя его движение и связь с человеческнмн судьбамн. Прнблнженне художественного строя к народной поэтике, к сказовости, былинной, песенной выразнтельностн и емкости способствуют замыслу пнсателя — поставнть героев в контекст нсторин. Веселая частушка и старинная походная песня, сказка н лукавый юмор щедро являют нравственное здоровье его героев, народа, уверенно несущего через столетня свое гуманистическое предназиачение.

К заключнтельным страницам повестн писатель приводит усвятских мужиков внутренне изменившимися: онн уже не каждый сам по себе, но под командой молодого лейтенанта складывается воннское подразделенне, нх объединяет и общая песня, и общий табачок, н первый совместный обед, возникает нензведанное чувство воинского товарищества, братства, и уже вндно, кто как будет воевать. Онн идут догонять своего колхозного брнгадира, коммуннста Ивана Дронова, ушедшего на фронт добровольцем.

...Идут усвятскне мужикн, снтнянскне, разметнинскне, торопятся ставцовскне, гремячинские, инкольские — ндет «главная армия»!

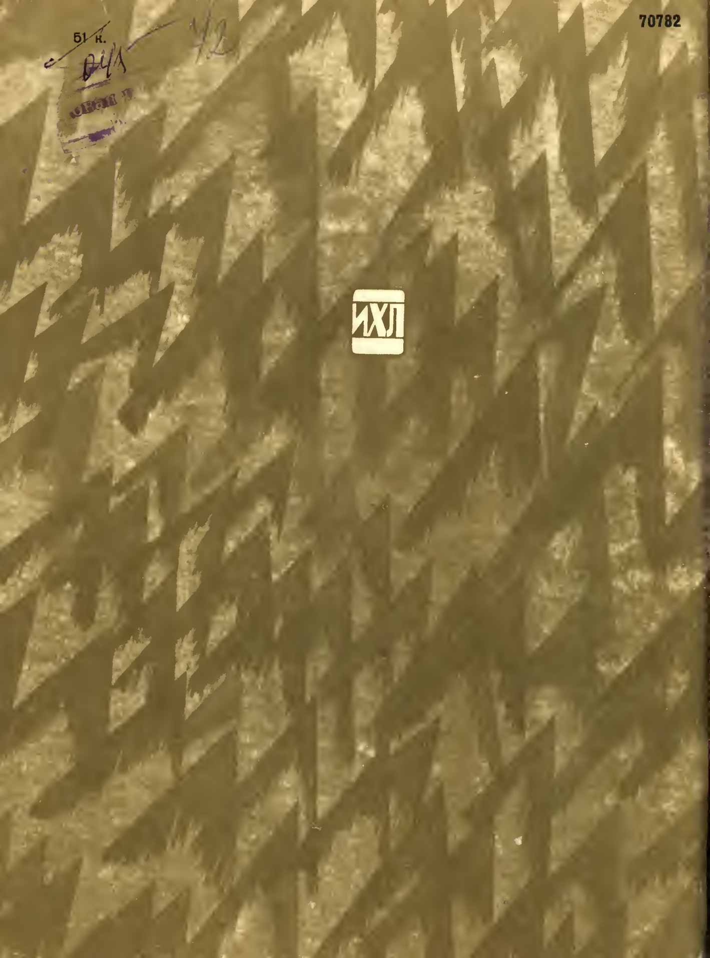
Трижды упоминает Евгений Носов на последиих страницах повести орла-курганника, что кружнл и парил над долиной, над рекой, над стекающимнся торопкими ручейками по всей Ключевской балке новобранцами. Он с неподвнжно раскинутыми крыльями — словно распростертая на земле черная рубаха. И тут вспоминается будто невзначай упомянутое прежде: Касьян надел в дорогу новую черную рубаху с частым рядом белых пуговок... Как трагнческое предзнаменование возникает и возникает над уходящнмн этот орел-символ.

Такова правда жизни, н художннк от нее не отступил, не подправил благополучной развязкой подлинностн судьбы полюбившихся нам героев. Война уведет их из этих роднмых мест навсегда. Без отца суждено родиться третьему сыну, имя которому Натаха определнла — Касьян, что значнт «носящий шлем».

Непресекаема цепь народного подвига, невыразимо дорогой ценой крепится она в отечественной истории.

Долг художника напоминать об этой цене иовым н иовым поколениям.

Нина ПОДЗОРОВА


51 к.
70782
ИХЛ